



Андрей Левонович Шляхов
Главные пары нашей эпохи.
Любовь на грани фола

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4442027

Главные пары нашей эпохи. Любовь на грани фола: АСТ: Астрель; Москва; 2011

ISBN 978-5-17-075010-8, 978-5-271-36626-0

Аннотация

Действительно ли все знаменитые пары нашей эпохи – пустышки, фальшивые чувства которых нужны лишь для игры с почтеннейшей публикой? В этой книге собраны те, чья любовь безусловна, чьи страдания, ревность и нежность – настоящие. Поверьте, еще есть любовь, читая о которой щиплет глаза, и люди, у которых можно научиться прощать и жить ради другого. Орлова и Александров, Плисецкая и Щедрин, Миронов и его жены, Михалковы, Безруковы и многие другие в пронзительной, трогательной и яркой книге о любви.

Содержание

Николай Гумилёв	4
Владимир Маяковский и Лиля Брик	22
Михаил Булгаков и Елена Нюрнберг	38
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Андрей Шляхов Главные пары нашей эпохи. Любовь на грани фола

*Любовь – это сон в сновиденьи...
Любовь – это тайна струны...
Любовь – это небо в виденьи...
Любовь – это сказка луны...
Любовь – это чувственных строк душа...
Любовь – это дева вне форм...
Любовь – это музыка ландыша...
Любовь – это вихрь! это шторм!
Любовь – это девственность голая...
Любовь – это радуга снов...
Любовь – это слезка веселая...
Любовь – это песня без слов!..*

Игорь Северянин. «Любовь».

Николай Гумилёв Анна Ахматова Паладин и Колдунья

Николай Гумилев

- еще мальчиком любил помечтать, жаждал приключений и писал красивые, но в то же время совершенно не детские стихи
- роста высокого, художав, с очень красивыми руками, несколько удлинённым бледным лицом
- впервые признался Анне в любви спустя два месяца после знакомства
- познакомился с братом Анны, чтобы чаще бывать в доме Горенко
- от неразделенной любви хотел утопиться
- стрелялся на дуэли с Волошиным
- участник возрожденного ежемесячного журнала современной поэзии «Остров»
- побывал в Африке трижды в качестве исследователя-этнографа
- венчание с Анной
- на голове – феска лимонного цвета, на ногах – лиловые носки и сандалии, и к этому русская рубашка
- решение, что впредь каждый будет жить так, как ему или ей вздумается
- в начале Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт

Анна Ахматова

- девочкой сильно отличалась от своих сверстниц
- росла индивидуалисткой
- она была другая, ей никогда не хотелось быть такой, как все
- с Колей Гумилевым познакомилась в канун Рождества 1903 года
- на венчании не было никого из ее родственников
- родился сын Лев
- семейная жизнь не дала трещину – она не заладилась с самого начала
- больше всего обожала бродить по Петербургу в белые ночи
- одна уехала в Париж к Модильяни
- после смерти Гумилев стал ее вечным собеседником, ее потусторонним наставником, ее ангелом-хранителем

Девочка сильно отличалась от своих сверстниц. Она росла индивидуалисткой. Она жила тем, что было внутри нее. Она была другая. Ей никогда не хотелось быть такой, как все:

*И никакого розового детства...
Веснушечек, и мишек, и игрушек,
И добрых тетей, и страшных дядей, и даже
Приятелей среди камешков речных.
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом,
Иль отраженьем в зеркале чужом...*

Пятнадцатилетний мальчик любил помечтать, жаждал приключений и писал красивые, но в то же время совершенно не детские стихи:

*Вот я один с самим собой...
Пора, пора мне отдохнуть:
Свет беспощадный, свет слепой
Мой выпил мозг, мне выжгет грудь.
Я грешник страшный, я злодей:
Мне Бог бороться силы дал,
Любил я правду и людей;
Но растоптал я идеал...
Я мог бороться, но как раб,
Позорно трусив, отступил
И, говоря: «Увы, я слаб!» —
Свои стремленья задавил...
Я грешник страшный, я злодей...
Прости, Господь, прости меня.
Душе измученной моей
Прости, раскаянье ценя!.*

С Колей Гумилевым Аня Горенко познакомилась в канун Рождества 1903 года. Их представила друг другу Анина подруга Валерия Тюльпанова. Случилось это в Царском Селе близ Гостиного Двора.

Валерия Тюльпанова, в замужестве ставшая Срезневской, довольно подробно описала в своих мемуарах всю историю отношений Анны Ахматовой с Николаем Гумилевым. Буквально от первого дня и до последнего.

«Сидя у меня в небольшой темно-красной комнате, на большом диване, Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним», – так Срезневская вспоминала встречу Ахматовой с Гумилевым летом 1918 года в своей петербургской квартире на Выборгской стороне.

«Коля страшно побледнел, помолчал и сказал: "Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что ты хочешь". Встал и ушел. Многого ему стоило промолвить это... ему, властно желавшему распоряжаться женщиной по своему усмотрению и даже по прихоти. Но все же он сказал это! Ведь во втором браке, меньше чем через год, он отправил юную жену к своей маме в Бежецк, в глушь, в зиму, в одинокую и совсем уж безрадостную жизнь! Она была ему "не нужна". Вот это тот Гумилев, который только раз (но смертельно) был сражен в поединке с женщиной. И это-то и есть настоящий, подлинный Гумилев. Не знаю, как называют поэты или писатели такое единоборство между мужчиной и женщиной... Я помню, раз мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах женщин и мужчин, и он сказал: "Я знаю только одно, что настоящий мужчина – полигамист, а настоящая женщина – моногамична". "А вы такую женщину знаете?" – спросила я. "Пожалуй, нет. Но думаю, что она есть", – смеясь, ответил он. Я вспомнила Ахматову, но, зная, что ему будет это больно, промолчала».

Знакомство с Анной Николай позже опишет в стихотворении «Современность»:

*Я закрыл Илиаду и сел у окна,
На губах трепетало последнее слово,
Что-то ярко светило – фонарь иль луна
И медлительно двигалась тень часового...
Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя,
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.*

Аня была царскосельским старожилом – ее семья жила здесь уже больше десяти лет. Гумилевы же недавно вернулись в Царское Село после восьмилетнего перерыва, и Коля все никак не мог привыкнуть к «новому месту». Больше всего мальчика огорчало то, что у него совершенно не складывались отношения с одноклассниками. Коля вообще с трудом находил общий язык со сверстниками. Высокий, немного нескладный, слегка косящий глазами, картавый и очень церемонный в обращении, он резко выделялся на фоне прочих семиклассников Царскосельской Императорской Николаевской гимназии. Поэт и эссеист Николай Оцуп вспоминал о Гумилеве: «Он так важно и медлительно, как теперь, говорит что-то моему старшему брату Михаилу. Брат и Гумилев были не то в одном классе, не то Гумилев был классом младше. Я моложе брата на 10 лет, значит, мне было тогда лет шесть, а Гумилеву лет пятнадцать. И все же я Гумилева отлично запомнил, потому что более своеобразного лица не видел в Царском Селе ни тогда, ни после. Сильно удлинённая, как будто вытянутая вверх голова, косые глаза, тяжелые медлительные движения, и ко всему очень трудный выговор, – как не запомнить!»

«Он не был красив, – подтверждает в своих мемуарах Валерия Срезневская, – в этот ранний период он был несколько деревянным, высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри... Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлинённым

бледным лицом, – я бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной элегантности. Так, блондин, каких на севере у нас можно часто встретить».

Вдобавок ко всему, Гумилев писал стихи, причем стихи не классические и не героические – он был приверженцем модернистского направления в поэзии. Его сверстники подобного творчества не понимали и не принимали. Гумилева в гимназии откровенно травили.

Чувствуя неприязнь окружающих, он все больше замыкался в себе.

В Аню Горенко, бывшую на три года младше его, Гумилев влюбился с первого взгляда. Эта любовь стала смыслом его жизни и одновременно – трагедией. Спустя несколько лет он напишет:

*Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал – забавницу,
Гадал – своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
Покликаешь – морицится,
Обнимешь – топорщится,
А выйдет луна – затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, – и хочет топиться.
Твержу ей: крещенному,
С тобой по-мудреному
Возиться теперь мне не в пору;
Снеси-ка истому ты
В днепровские омуты,
На грешную Лысую гору.
Молчит – только ежится,
И все ей неможется,
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую,
Над очастью, Богом залятую.*

Ахматова ответит на жалость недобро и резко. Она вообще была резка:

*Под навесом темной риги жарко,
Я смеюсь, а в сердце злобно плачу.
Старый друг бормочет мне: «Не каркай!
Мы ль не встретим на пути удачу!
Но я другу старому не верю.
Он смешной, незрячий и убогий,
Он всю жизнь свою шагами мерил
Длинные и скучные дороги.
И звенит, звенит мой голос ломкий,
Звонкий голос не узнавших счастья:
«Ах, пусты дорожные котомки,
А на завтра голод и ненастье!*

Справедливости ради, надо отметить, что «смешной и убогий» Гумилев с годами стал если не красавцем, то вполне обаятельным мужчиной.

«Позже, возмужав и пройдя суровую кавалерийскую военную школу, – писала Срезневская, – он сделался лихим наездником, обучавшим молодых солдат, храбрым офицером (он имел два Георгия за храбрость), подтянулся и, благодаря своей превосходной длинноногой фигуре и широким плечам был очень приятен и даже интересен, особенно в мундире. Улыбка и несколько насмешливый, но милый и недерзкий взгляд больших, пристальных, чуть косящих глаз нравились многим и многим. Говорил он чуть нараспев, нетвердо выговаривая "р" и "л", что придавало егоговору совсем не уродливое своеобразие, отнюдь не похожее на косноязычие».

Если Гумилев буквально обезумел от свалившейся на него любви, то Аня не придавала этому знакомству никакого значения. Юноша – и юноша. Ничего особенного. При повторных встречах она делала вид, что не замечает или не узнает нового знакомого. А может быть, и вправду не узнавала? Исстрадавшийся от неразделенной любви Коля познакомился со старшим братом Анны Андреем, который очень заинтересовался поэтическими опытами Николая. Благодаря дружбе с Андреем Гумилев стал вхож в дом к Горенкам, ведшим довольно замкнутый образ жизни. Отец Ани, Андрей Антонович Горенко был морским офицером, сменившим военную службу на чиновную и дослужившимся до статского советника. Отец Гумилева Степан Яковлевич был корабельным врачом. Можно сказать, что море объединяло два этих семейства. Горенки, правда, жили побогаче.

С течением времени между Колей и Аней установились ровные, дружеские отношения. Несомненно, Ане льстило внимание юноши-старшеклассника, да еще и поэта. Настоящего поэта, готовящего к изданию свою первую книгу «Путь конквистадоров». Однако она никак не выдавала своего расположения. Гумилев страдал, терзался и... продолжал надеяться. Он вообще был однолюб.

А еще он был очень настойчив – не упускал ни малейшего повода для того, чтобы лишний раз показаться Анне на глаза. Приходил в гости, подкарауливал на улице, встречал после уроков. Валерия Тюльпанова вспоминала, как, желая позлить надоедливую Колю, они с Аней вдруг начинали читать вслух длиннейшие немецкие стихи. Немецкая речь Гумилеву отчего-то не нравилась. Но он терпел и как верный рыцарь прощался с Аней только у ворот ее дома. Возвращался к себе, немного мечтал, что-то писал, если было настроение, и шел в гости к Горенкам. О, этот мальчик умел держать осаду по всем правилам военного искусства!

Они выросли, нередко вместе появлялись на людях, иногда Анна была благосклонна, иногда – резка, но все же их отношения внушали надежду. Хотя бы одному Гумилеву:

*Знаю! Сердце девушек бесстрастно,
Как они, не мучить никому:
Огонек болот отравит тьму,
Отуманит душу шум неясный,
Подкрадется ягуар опасный,
Победитель, к лоту твоему...
Девушка, игравшая судьбой,
Сделается нежною женой,
Милым сотоварищем в работе...
Водопады с пеной ледяной,*

*Островки, забытые в болоте,
Вы для жизни духа оживете!*

Удивительно, как столь гордый и самолюбивый юноша, преисполненный чувства собственного достоинства, непокорная поэтическая натура, столь легко, а главное – добровольно, покорился своей избраннице! Он добровольно пал к ее ногам и был бесконечно рад мимолетному взгляду, одному-двум добрым словам, редкой улыбке.

Он впервые признался ей в любви спустя два месяца после знакомства – в феврале 1904 года. Признался, надеясь на взаимность, но взаимности не получил. Но и отказа тоже не последовало, что позволяло надеяться... На закате жизни Анна Андреевна называла свои брачные отношения с Гумилевым «удивительными и непонятными».

Конечно же, он ей нравился, нравился настолько, что ей было жаль его терять, и далеко не настолько, чтобы остановить на нем свой выбор прямо с начала знакомства. Анна была практична, немного взбалмошна и очень рано узнала цену своим чарам.

Первым стихотворением, которое Гумилев посвятил своей любимой, была «Русалка».

*У русалки мерцающий взгляд,
Умирающий взгляд полуночи,
Он блестит, то длинней, то короче,
Когда ветры морские кричат.
У русалки чарующий взгляд,
У русалки печальные очи.
Я люблю ее, деву-ундину,
Озаренную тайной ночной,
Я люблю ее взгляд заревой
И горящие негой рубины...
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской.*

Дошло до того, что Николай оформил свою комнату в родительском доме в виде подводного грота с фонтаном, попросив знакомого художника нарисовать на стене русалку, весьма похожую на Анну.

Вместе с «Балладой» Николай подарил Анне золотое кольцо с крупным рубином.

*Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спускаться в глубины пещер
И увидел небес молодое лицо.
Кони фыркали, били копытом, маня
Понестись на широком пространстве земном,
И я верил, что солнце зажглось для меня,
Просияв, как рубин на кольце золотом...
В тихом голосе слышались звоны струны,
В странном взоре сливался с ответом вопрос,
И я отдал кольцо этой деве луны
За неверный оттенок разбросанных кос.
И, смеясь надо мной, презирая меня,
Люцифер распахнул мне ворота во тьму,
Люцифер подарил мне шестого коня —*

И Отчаянье было названье ему

Дева луны кольцо приняла, но хранила его втайне от своих домашних, явно сознавая, что принимать подобные знаки внимания от мужчин девушке не пристало. Однажды Анна кольцо уронила, и оно закатилось в щель между половицами, да там и осталось.

Летом 1906 года двадцатилетний Гумилев наконец-то окончил гимназию. Анна к тому времени успела влюбиться. В другого. Счастливым соперником Гумилева стал студент третьего курса факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета. Красавчик с прекрасными манерами и громкой фамилией Голенищев-Кутузов. Нет никаких данных, свидетельствующих о том, что Владимир Голенищев-Кутузов ответил на Аннино чувство. Скорее всего любовь заключалась в одностороннем обожании. По окончании факультета Голенищев-Кутузов отбыл за границу, положив начало своей дипломатической карьере, и след его потерялся.

Ахматова, подобно всем настоящим поэтам, была великим мистификатором. Однажды она призналась: «В течение своей жизни любила только один раз. Только один раз. "Но как это было!" В Херсонесе три года ждала от него письма. Три года каждый день, по жаре, за несколько верст ходила на почту и письма так и не получила».

Можно строить догадки – о ком это сказано. Но наверняка – не о Гумилеве.

В июле 1907 года Анна с матерью жила в Крыму – ее родители решили расстаться и жена, забрав детей, уехала на юг, подальше от мужа и холодов. Гумилев по пути в Париж, где он намеревался для продолжения образования слушать лекции по французской литературе в Сорбонне, заехал повидаться. Разумеется, он сделал новое предложение, которое Анна опять не приняла. Гумилев привез ей в подарок пьесу «Шут короля Батиньоля», но она не стала ее слушать, и рукопись была разорвана.

Вскоре Гумилев написал стихотворение «Отказ»:

*Царица иль, может быть, только печальный ребенок,
Она наклонялась над сонно вздыхающим морем,
И стан ее, стройный и гибкий, казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу серебряным зорям.
Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали на влаге дельфины.
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,
Они предлагали свои глянцевиные спины.*

*Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое: "Не надо..."
Царица иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.*

Дальше – больше. То ли из желания испытать Николая, то ли – избавиться от него, Анна вдруг призналась, что уже успела утратить невинность. Впрочем, кажется, она раньше уже намекала ему на это, но сейчас сказала прямо, без недомолвок. Ласковые южные вечера вообще располагают к откровенности.

Страдание Гумилева излилось в новых стихах:

*Музы, рыдать перестаньте,
Грусть вашу в песнях излейте,
Спойте мне песню о Данте
Или сыграйте на флейте.
Дальше, докучные фавны,
Музыки нет в вашем кличе!
Знаете ль вы, что недавно
Бросила рай Беатриче...*

Просвещенные люди, к которым, вне всякого сомнения, относил себя Гумилев, и в то время не придавали большого значения добрачной утрате невинности. Но – это вообще, в отношении всех женщин. Идеал же, воспетый в стихах, совершенство, возведенное на постамент, муза, любовь поэта не могла вести себя подобным образом. Не могла и не должна была. Он убеждал себя, что Анна пошутила, но сердце подсказывало, что она сказала правду.

Во Франции Гумилев даже хотел утопиться, для чего приехал из Парижа в норманнский городок Трувиль. Оканчивать свой земной путь в грязной Сене ему не хотелось. Бог миловал – обошлось.

Спустя полвека Анна Андреевна обратится к своему верному паладину с пронзительными стихами. Нет – не стихи то были, а крик души, устремленный в небытие:

*Ты выдумал меня. Такой на свете нет,
Такой на свете быть не может.
Ни врач не исцелит, не утолит поэт, —
Тень призрака тебя и день, и ночь тревожит.
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,
Все было в трауре, все никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.
Без фонарей, как смоль был черен невский вал,
Глухая ночь вокруг стеной стояла...
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала – сама еще не понимала.
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,
По осени трагической ступая,
В тот навсегда опустошенный дом,
Откуда унеслась стихов сожженных стая.*

Не сумев утопить свою боль в море, Гумилев решил утопить ее в разгуле. Немало побед было на его счету, но все эти победы ровным счетом ничего для него не значили. Даже не помогали отвлечься от тяжких дум. Впрочем, была одна поэтесса, Елизавета Дмитриева, которая чем-то неуловимо напоминала Гумилеву Анну. Но – только чем-то, отчасти, слегка. Дмитриева больше прославилась (слава ее была скандальна) под именем Черубины де Габриак. Наверное, только к Дмитриевой Ахматова ревновала Гумилева, если она вообще была способна его ревновать, зная, что он всецело и навсегда принадлежит ей одной.

Роман с Дмитриевой начался в 1909 году, после очередного, уже и не сосчитать какого именно, отказа Анны выйти замуж за Гумилева. Познакомились Николай и Елизавета в Париже, но потянуло их друг к другу почти через два года, уже в Петербурге, когда, по признанию самой Дмитриевой, «оба с беспощадной ясностью поняли, что это встреча, и не нам

ей противиться». «Это была молодая, звонкая страсть, – продолжала Елизавета. – "Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей", – писал Н. С. (Николай Степанович Гумилев. – А. III.) на альбоме, подаренном мне. Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на "Башню" и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В "будни своей жизни" не хотела я вводить Н. С.

Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н. С., и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство – желание мучить... В мае мы вместе поехали в Коктебель».

В Коктебеле случилось неприятное. Гумилев с Дмитриевой приехали к их общему, еще по Парижу, знакомому Максимилиану Волошину, живому божеству литературно-художественной богемы. Дмитриева, кроме того, дружила с женой Волошина, художницей Маргаритой Сабашниковой, но это не помешало ей вступить в связь с Максимилианом. Гумилев оскорбился, уехал из Коктебеля в Петербург, оставив свою Черубину в объятиях Волошина. Из-за того что Гумилев якобы нелестно отозвался о Дмитриевой, у него в ноябре 1909 года вышла дуэль с Волошиным, больше похожая на театральный фарс. Одним из секундантов был писатель Алексей Толстой. Он вспоминал:

«Здесь, конечно, не место рассказывать о том, чего сам Гумилев никогда не желал делать достоянием общества. Но я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, – в произнесении им некоторых неосторожных слов, – было ложно: слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения, когда же была устроена очная ставка и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь. В Мариинском театре, наверху, в огромной, как площадь, мастерской Головина, в половине одиннадцатого, когда под колосниками, в черной пропасти сцены, раздавались звуки "Орфея", произошла тяжелая сцена в двух шагах от меня: поэт В. (Волошин. – А. III.), бросившись к Гумилеву, оскорбил его (дал пощечину. – А. III.). К ним подбежали Анненский, Головин, В. Иванов. Но Гумилев, прямой, весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув их, уже овладел собой. Здесь же он вызвал В. на дуэль».

Как и положено поэтам, противники стрелялись на Черной речке – месте дуэли Пушкина. Счастливый жребий выпал обоим – никто не пострадал.

Началось с того, что по дороге машина Гумилева застряла в снегу. Вскоре рядом остановился автомобиль, на котором ехал Волошин. Совместными усилиями машину вытащили и поехали дальше.

Гумилев был настроен весьма решительно. Толстой писал: «Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, попросил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей, Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем были цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, – взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего, расставив ноги, без шапки. Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться».

На счет «три» Гумилев выстрелил, но промахнулся, а у Волошина пистолет дал осечку. Гумилев предложил противнику стрелять еще раз. «Я выстрелил, – вспоминал Волошин, – боясь, по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал...»

Гумилев потребовал стрелять снова. У Волошина во второй раз вышла осечка. Секунданты отобрали пистолеты. Гумилев горячился: «Я требую третьего выстрела!», – но его не послушали. Гумилев отказался мириться и руки Волошину так и не подал.

Причину промаха столь меткого стрелка, как Гумилев, Алексей Толстой объяснял тем, что в пистолеты по ошибке насыпали двойную порцию пороха, отчего усилилась отдача и, соответственно, уменьшилась точность.

Кстати, вот как описывал Елизавету Дмитриеву Максимилиан Волошин: «Тонкий профиль, маленьким бледным треугольником выдвигающийся из-под спущенных волос. Змеистый рот с немного поднимающимися углами и так же скошенная стремительная линия и в очерке лба и постановке глаза».

Елизавета Дмитриева сильно кривила душой, уверяя себя, а больше – других, в страстной любви к ней Гумилева. Она даже утверждала, что стихотворение «Отказ» написано Гумилевым под впечатлением ее отказа, а Ахматова здесь ни при чем.

Анна Дмитриеву ненавидела, а дважды оскорбленному Гумилеву сочувствовала.

После дуэли Гумилев, Алексей Толстой и поэт Михаил Кузмин приехали в Киев в качестве участников возрожденного ежемесячного журнала современной поэзии «Остров». На деньги спонсоров удалось издать только первый номер, отпечатанный второй так и остался невыкупленным в типографии. Провалился и вечер поэзии «Остров искусств», на который пришла и Анна. После вечера она, несмотря на холод и слякоть, долго гуляла с Гумилевым по Киеву. Желая согреться, зашли выпить кофе в гостиницу «Европейская», где Анне было сделано очередное предложение руки и сердца.

На этот раз она его приняла! Много позже Ахматова признавалась, что принять предложение Гумилева ее подтолкнула фраза из его недавнего письма: «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к Вам».

Три счастливых дня провел Гумилев в Киеве, а затем отбыл в Абиссинию. Это была первая африканская поездка Гумилева. Всего же он побывал в Африке трижды, причем не досужим туристом, а в качестве исследователя-этнографа. Некоторые считают, что Гумилев побывал в Африке не три, а четыре раза, включая сюда и его поездку в Египет, состоявшуюся в 1908 году.

О помолвке жених и невеста решили пока помалкивать. Гумилев звал Анну с собой в Африку, но она отказалась.

Не исключено, что период от принятия предложения до начала совместной жизни с Ахматовой был для Гумилева самым радостным, самым счастливым. После стольких лет ожидания он все же добился своего! Это была поистине великая победа.

Как это часто бывает в жизни, победа обернулась поражением. Правда, не совсем сразу...

Они венчались весной 25 апреля 1910 года в маленькой деревенской церквушке, расположенной недалеко от Киева. Венчались скромно, без пышности. Совсем недавно, в феврале того же года, скоропостижно скончался отец Николая и срок траура еще не кончился.

Гумилев беспокоился, что Анна может передумать, но она не передумала. Хотя и особой радости, кажется, не выказывала. У Валерии Срезневской сохранилась записка Анны: «Птица моя, – сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы все знаете,

единственная, ненаглядная, любимая, нежная. Валя моя, если бы я умела плакать. Аня».

Можно догадываться, строить предположения, рассматривать различные версии, но ясно одно – предложение Гумилева было принято Ахматовой без воодушевления. Но все же – оно было принято.

Венчание было обставлено с поистине заговорщицкой таинственностью. Из дома Анна отправилась в церковь в повседневной одежде и лишь где-то по пути переделалась в подвенечное платье. На венчании не было никого из ее родственников, которые сочли брак с Гумилевым обреченным на неудачу.

Анну подобное невнимание со стороны близких очень сильно обидело. Ее свадебные впечатления выльются в мрачное:

*Хорони, хорони меня, ветер!
Родные мои не пришли,
Надо мной блуждающий вечер
И дыханье тихой земли.
Я была, как и ты, свободной,
Но я слишком хотела жить.
Видишь, ветер, мой труп холодный,
И некому руки сложить...*

Невеста явно не радовалась своему семейному счастью.

Спустя неделю после свадьбы Гумилевы отбыли в свадебное путешествие в Париж. Именно здесь родился псевдоним Ахматова (фамилия прабабушки Анны). Им было подписано стихотворение, посвященное художнице Александре Экстер, знакомой Анне еще по Киеву:

*Тонки по-девичьи нежные плечи,
Смотришь надменно-упрямо;
Тускло мерцают высокие свечи,
Словно в преддверии храма,
Возле на бронзовом столике цитра,
Роза в граненом бокале...*

Надежда Чулкова, жена писателя Георгия Чулкова, дружившая с Анной, вспоминала: «Ахматова была тогда очень молода, ей было не больше двадцати лет. Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая. (Она сама мне показывала, что может, перегнувшись назад, коснуться головой своих ног.) На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером – это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж – поэт Н.С. Гумилев».

Вскоре по прибытии в Париж Гумилевы познакомились с художником Амедео Модильяни. Итальянский еврей Модильяни переехал в Париж в 1906 году с далеко идущими целями. Он намеревался учиться художественному мастерству у именитых французских живописцев и рассчитывал вскоре заявить о себе как о молодом даровании.

Модильяни был беден, перебивался с хлеба на воду, но жил беззаботно, безмятежно. Его спокойствие поразило Ахматову больше, чем его экстравагантность.

Впервые Модильяни предстал перед Ахматовой одетым в желтые вельветовые брюки и яркую желтую куртку. Другой в подобном одеянии имел бы весьма нелепый вид, но врожденное изящество помогло художнику казаться образцом элегантности в любом костюме. Модильяни недавно исполнилось двадцать шесть лет, Анне было двадцать.

«В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз, – вспоминала о Модильяни Ахматова. – Тем не менее он всю зиму писал мне... Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли... Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Амедео только искрилось сквозь какой-то мрак. У него была голова Антиноя и глаза с золотыми искрами, он был совсем не похож ни на кого на свете...»

Одно из этих писем, о которых пишет Ахматова, увидел Гумилев. Гумилев и Модильяни друг друга терпеть не могли. «Гумилев, – писала Анна Андреевна, – когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его "пьяным чудовищем" или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года, и обоих ждала громкая посмертная слава».

Посмертная слава у обоих и впрямь была гораздо больше прижизненной.

В июне 1911 года Анна уехала в Париж одна. Уехала к Модильяни, в которого влюбилась еще во время своего свадебного путешествия. Страсть вспыхнула внезапно, неожиданно, неуместно... Свадебное путешествие как-никак. Возможно, Анна надеялась на то, что на расстоянии чувство к художнику угаснет, но разлука только усилила взаимное влечение, подогреваемое страстными письмами влюбленного художника!

Гумилев по вечной своей привычке страдал молча. Терпел, мучился, но не требовал объяснений и не закатывал скандалов. Не считая себя вправе унижаться до ревности в семейной жизни, поэт отразил свои муки в стихах:

*Ты совсем, ты совсем снеговая,
Как ты странно и страшно бледна!
Почему ты дрожишь, подавая
Мне стакан золотого вина?
Отвернулась печальной и гибкой...
Что я знаю, то знаю давно,
Но я выпью, и выпью с улыбкой
Все налитое ею вино.
А потом, когда свечи потушат
И кошмары придут на постель,
Те кошмары, что медленно душат,
Я смертельный почувствую хмель...
Я приду к ней, скажу: «Дорогая,*

*Видел я удивительный сон,
Ах, мне снилась равнина без края
И совсем золотой небосклон.
Знай, я больше не буду жестоким,
Будь счастливой, с кем хочешь, хоть с ним,
Я уеду, далеким, далеким,
Я не буду печальным и злым.
Мне из рая, прохладного рая,
Видны белые отсветы дня...
И мне сладко – не плачь, дорогая, —
Знать, что ты отравила меня.*

Их семейная жизнь не дала трещину – она попросту не заладилась с самого начала. Слишком уж разными были они и совершенно по-разному смотрели на жизнь. Конечно же, Анна в душе чувствовала себя виноватой, но ничего не могла поделать. Она не любила Гумилева. Если и были некие чувства, которые она могла принять за любовь, то они быстро прошли.

А вот он любил за двоих. Страстно, искренне, самоотверженно. Иначе бы не написал:

*И мне сладко – не плачь, дорогая, —
Знать, что ты отравила меня.*

Ахматова тоже поверяла бумаге сокровенное. Но она была настроена не столь мрачно:

*Я и плакала и каялась,
Хоть бы с неба грянул гром!
Сердце темное измаялось
В нежиле дому твоём.
Боль я знаю нестерпимую,
Стыд обратного пути...
Страшно, страшно к нелюбимому,
Странно к тихому войти.
А склонюсь к нему, нарядная,
Ожерельями звеня, —
Только спросит: «Ненаглядная!
Где молилась за меня?»*

Отношения с родными Николая у Анны не сложились с самого начала. Все было не таким, чужим, инородным. Она чувствовала неприязнь, исходящую от родственников мужа, и оттого все больше замыкалась в себе. Мать Николая скрепя сердце простила сыну скоропалительную женитьбу без родительского благословения, но вот в душе принять невестку в свою семью так и не смогла. Да и невестка, кажется, в этом совсем не нуждалась. Чужая кровь, чужие люди, чужая душа – потемки.

Вот что вспоминала тверская помещица Вера Неведомская: «Судьба свела меня с Гумилевым в 1910 году. Вернувшись в июле из заграницы в наше имение "Подобино" – в Бежецком уезде Тверской губ., – я узнала, что у нас появились новые соседи. Мать Н.С. Гумилева получила в наследство небольшое имение "Слепнево", в 6 верстах от нашей усадьбы. Слепнево собственно не было барским имением, это была скорее дача, выделенная из "Борискова", имения Кузьминых-Караваевых. Мой муж уже побывал в Слепневе несколько раз,

получил от Гумилева его недавно вышедший сборник "Жемчуга" и был уже захвачен обаянием Гумилевской поэзии.

Я как сейчас помню мое первое впечатление от встречи с Гумилевым и Ахматовой в их Слепневе. На веранде, где мы пили чай, Гумилев вошел из сада; на голове – феска лимонного цвета, на ногах – лиловые носки и сандалии, и к этому русская рубашка. Впоследствии я поняла, что Гумилев вообще любил гротеск и в жизни и в костюме. У него было очень необычное лицо: не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка косят. При этом подчеркнуто-церемонные манеры, а глаза и рот слегка усмеваются; чувствуется, что ему хочется созерцать и подшутить над его добрыми тетушками, над этим чаепитием, с разговорами о погоде, об уборке хлебов и т. п.

У Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. Все черты слишком острые, чтобы назвать лицо красивым. Серые глаза без улыбки. Ей могло быть тогда 21–22 года. За столом она молчала, и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В той патриархальной семье и сам Николай Степанович, и его жена были как белые вороны. Мать ограничилась тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни по дипломатической части, а стал поэтом, пропадает в Африке и жену привел какую-то чудную: тоже пишет стихи, все молчит, ходит то в тесном ситцевом платье вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах (тогда носили узкие юбки с разрезом). Конечно, успех "Жемчугов" и "Четок" произвел в семье впечатление, однако отчужденность все же так и оставалась. Сама Ахматова так вспоминает об этом периоде своего "тверского уединения":

*Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.
Журавль у ветхого колодца
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.
И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб.
И осуждающие взоры
Спокойных, загорелых баб.*

После чая мы, молодежь, пошли в конюшню смотреть лошадей, потом к старому пруду, заросшему тиной. Выйдя из дома, Николай Степанович сразу оживился, рассказывая об Африке, куда он мечтал снова поехать. Потом он и Ахматова читали свои стихи. Оба читали очень просто, без всякой декламации и напевности, которые в то время были в моде.

В 1912 году у Гумилевых родился мальчик, которого назвали Львом. Анна была на седьмом небе от счастья. Она писала:

*Загорелись иглы венчика
Вкруг безоблачного лба.
Ах! улыбчивого птенчика
Подарила мне судьба.*

Будущий основоположник пассионарной теории этногенеза, а также поэт и переводчик рос здоровым ребенком. Все неприятности у него были в далеком будущем.

В стихотворении молодой матери, обращенном к мужу, сквозит боль:

В ремешках пенал и книги были;

*Возвращались мы домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашей встречи, мальчик мой веселый.
Только, ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок.
А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.*

В то время между ними еще не пролегла пропасть, хотя определенные предпосылки к тому уже намечались. Гумилевы жили в Царском Селе. Николай Степанович недавно восстановился в университете и, не желая ежедневно тратить много времени на дорогу, снял комнатенку в Тучковом переулке. Снял – и начал пропадать там подолгу.

Вначале Анна обрадовалась. Ей всегда хотелось иметь свой угол в столице. Ахматова любила долгие прогулки, причем больше всего обожала бродить по Петербургу в белые ночи, но увы – приходилось связывать свой режим с графиком царскосельских поездов, последний из которых отходил около девяти часов вечера. Можно было, конечно, переночевать у отца или у Валерии, но из деликатности Ахматова старалась не обременять их.

Подозрение в неверности мужа, которое Анна сначала отгоняла от себя, постепенно крепло. В свою очередь Анна тоже воздержалась от сцен и упреков. Она избрала другой путь, более действенный – начала напропалую кокетничать с друзьями Николая.

Гумилев на ее кокетство никак не реагировал, и это было большее, чем сам факт измены. Он не отреагировал даже на провокационные стихи, прямо намекавшие на близкие отношения Ахматовой с воображаемыми (и воображаемыми ли?) любовниками. Скорее всего, потому, что сам к тому времени был далеко не безгрешен.

С актрисой Ольгой Высотской Гумилев познакомился в петербургском литературно-артистическом кафе «Бродячая собака» на праздновании юбилея Константина Бальмонта в 1912 году. Роман был страстным, но недолгим, вскоре Гумилев уехал в Абиссинию, несмотря на то, что Ольга была беременна. Подобное поведение очень обидело Высотскую и привело к разрыву отношений между ней и Гумилевым. В 1913 году Высотская родила сына Ореста, которого Гумилев так никогда и не увидел. Но сам факт рождения ребенка «на стороне» послужил последней каплей, переполнившей чашу терпения Ахматовой. На сей раз выяснение отношений было довольно-таки бурным. В конце концов супруги порешили на том, что впредь каждый будет жить так, как ему или ей вздумается. Полная свобода, никаких взаимных обязательств.

Уже ничего не ожидая, ни на что не надеясь, Гумилев обратился к Анне:

*Я счастье разбил с торжеством святотатца,
И нет ни тоски, ни укора,
Но каждою ночью так ясно мне снятся
Большие, ночные озера.
На траурно-черных волнах неньюфары,
Как думы мои, молчаливы,
И будят забытые, грустные чары
Серебряно-белые ивы...
Я вспомню, и что-то должно появиться,
Как в сумрачной драме развязка:
Печальная девушка, белая птица*

Иль странная, нежная сказка.

Печалью расставания, болью утраты проникнут целый ряд стихотворений Гумилева. Но кажется, это страдание, пусть и самое сильное, самое большое, обещает стать последним. От этого, впрочем, поэту не легче:

*Я знаю, жизнь неудалась... и ты,
Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости, звонкие как сталь,
Упали кости – и была печаль.
Сказала ты, задумчивая, строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».
Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук.
И ты ушла в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье.*

В самом начале Первой мировой войны Гумилев ушел добровольцем на фронт. Он служил во взводе конной разведки, чуть ли не ежедневно совершая рискованные вылазки во вражеский тыл. Анне же приходили бодрые письма. «Я тебе писал, что мы на новом фронте. Мы были в резерве, но дня четыре тому назад перед нами потеснили армейскую дивизию, и мы пошли поправлять дело. Вчера с этим покончили, кое-где выбили неприятеля и теперь опять отошли валяться на сене и есть вишни. С австрийцами много легче воевать, чем с немцами. Они отвратительно стреляют. Вчера мы хохотали от души, видя, как они обстреливали наш аэроплан. Снаряды рвались по крайней мере верст за пять от него. Сейчас война приятная, огорчают только пыль во время переходов и дожди, когда лежишь в цепи. Но то и другое бывает редко. Здоровье мое отлично».

За три года, проведенных на фронте, Гумилев дослужился до прапорщика. В мае 1917 года его назначили в особый экспедиционный корпус русской армии, расквартированный в Париже. В мае 1918 года он вернулся в Петроград. В начале августа Гумилев официально развелся с Анной Ахматовой.

Идеальная любовь оказалась не любовью, а иллюзией. Гумилеву хотелось счастья, хотелось иметь настоящую семью. В 1919 году он женился на Анне Николаевне Энгельгардт – дочери историка и литературоведа Николая Энгельгардта. В апреле 1919 года у них родилась дочь Елена.

В начале 1921 года Гумилева избрали председателем Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов, а в конце августа того же года расстреляли за участие в контрреволюционном заговоре. Собственно вся вина его заключалась в том, что он не донес на тех,

кто предлагал ему выступить против Советской власти. Невозможно представить Николая Гумилева в роли доносчика.

*И вот вся жизнь! Круженье, пенье,
Моря, пустыни, города,
Мелькающее отраженье
Потерянного навсегда.
Бушует пламя, трубят трубы,
И кони рыжие летят.
Потом волнующие губы
О счастье, кажется, твердят.
И вот опять восторг и горе,
Опять, как прежде, как всегда,
Седую гривой машет море,
Встают пустыни, города.
Когда же наконец, восставши
От сна, я буду снова я, —
Простой индеец, задремавший
В священный вечер у ручья?*

Если Анна Ахматова не хранила верность живому Николаю Гумилеву, то вот мертвому, его памяти, она была верна всю свою жизнь. В душе своей Анна Андреевна возвела Гумилева на недостижимый для прочих ее мужчин пьедестал. Он стал ее вечным собеседником, ее потусторонним наставником, ее ангелом-хранителем. Не проходило дня, чтобы она не вспоминала о нем. Она так привыкла к тому, что он всегда рядом, ее верный паладин.

Ахматова надолго пережила Гумилева. Жизнь ее не была легкой, скорее наоборот. Арест сына, травля, всеобщее непонимание, болезни... Лишь на закате жизни ей было позволено хоть немного насладиться своей славой, но время было упущено, и после всего пережитого уже ничего не доставляло Ахматовой радости. Разве что кроме воспоминаний, которыми, как свидетельствуют немногочисленные друзья, и жила Анна Андреевна. Она принадлежала светлому прошлому.

В мае 1963 года она написала:

*Я гашу те заветные свечи,
Мой окончен волшебный вечер, —
Палачи, самозванцы, предтечи
И, увы, прокурорские речи,
Все уходит — мне снишься ты,
Доплясавший свое пред ковчегом.
За дождем, за ветром, за снегом
Тень твоя над бессмертным бременем,
Голос твой из недр темноты.
И по имени! Как неустанно
Вслух зовешь меня снова... «Анна!»
Говоришь мне, как прежде, — «ты».*

Спустя три года Колдунья ушла к своему Паладину. На смерть поэтессы откликнулись многие, но лучше всех, пожалуй, сказал об Ахматовой поэт Евгений Евтушенко:

*Ахматова двувременной была.
О ней и плакать как-то не пристало.
Не верилось, когда она жила,
Не верилось, когда ее не стало.
Она ушла, как будто бы напев
Уходит в глубь темнеющего сада.
Она ушла, как будто бы навек
Вернулась в Петербург из Ленинграда.
Она связала эти времена
В туманно-тенивое средоточье,
И если Пушкин – солнце,
То она в поэзии пребудет белой ночью...*

Владимир Маяковский и Лиля Брик Изменчивая муза

Маяковский

- *терпеть не мог булавок и заколок*
- *азартный игрок – карты, бильярд*
- *громадный рост, крупные черты лица, массивная, сильно выдвинутая вперед челюсть производили впечатление непреклонности и жесткости*
- *большой ребенок, который, общаясь на равных со взрослыми, сам невыносимо страдал от типичных комплексов, присущих подростковому возрасту*
- *на его внешность обращали внимание режиссеры театра и кино*
- *подбирал кошек и собак и пристраивал у друзей и знакомых*
- *была написана и поставлена программная трагедия «Владимир Маяковский», а сам автор выступил режиссером и исполнителем главной роли*
- *обменялся с Лилей Брик перстнями. Ей подарил перстень с инициалами ЛЮБ*
- *активно работал в РОСТА, оформляет (как поэт и как художник) для РОСТА агитационно-сатирические плакаты*
- *реформатор поэтического языка*
- *футурист*

Лилия Брик

- *муза русского авангарда*
- *в юности сильно увлекалась романом «Что делать?» Чернышевского*
- *самоуверенная и эгоцентричная*
- *женщина с очень организованной волей*
- *человек пунктуальный и обязательный*
- *обладала неотразимым обаянием незаурядной личности*
- *снялась с Маяковским в киноленте «Закованная фильмой» по сценарию самого В. Маяковского*
- *меценатство, заботливость и внимательность были у Лили Юрьевны в крови*
- *знала секреты обольщения, умела остроумно разговаривать, восхитительно одевалась, была умна, знаменита и независима*
- *стала второй женщиной-москвичкой за рулем*

Лилия Брик была не просто любовницей поэта Владимира Маяковского. Она была его музой. Многие исследователи творчества поэта считают, что именно Лилия привела Маяковского к славе, сделав из него поистине великого поэта.

Одни считали Лилю красавицей, прежде всего восхищаясь ее огромными глазами, другие же находили ее некрасивой – невысокой, чересчур худой и заметно сутулой. Но все сходилось в одном – Лиля была дьявольски притягательной. Было в ней нечто особенное, манящее, женственное, чарующее. О, эта женщина, которую можно было принять за подростка, превосходно умела пользоваться своими чарами. Она сознавала свою силу и пускала ее в ход при каждом удобном случае. Ну, а если мужчина ей нравился, то, как вспоминал один из современников, «она умела быть грустной, капризной, женственной, гордой, пустой, непостоянной, умной и какой угодно».

Искусствовед Николай Лунин, будущий муж Анны Ахматовой, описал в своем дневнике Лилю так: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; у нее торжественные глаза; есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками... эта самая обаятельная женщина много знает о человеческой любви и любви чувственной».

Природа наделила Лилю острым умом, а родители привили ей чувство собственной исключительности и уверенность в своей способности повелевать мужчинами. Отец Лили, присяжный поверенный Юрий Александрович Каган служил юрисконсультom в австрийском посольстве, а мать Елена Юльевна преподавала в Московской консерватории. Юрий Каган большую часть своего времени уделял проблемам, связанным с правом жительства евреев в Москве. Мать, уроженка Риги, помимо преподавания писала стихи, перекладывала их на музыку, регулярно устраивала у себя дома музыкальные вечера. Дом Каганов, расположенный у Покровских ворот, был излюбленным пристанищем московской богемы.

Отец Лили был страстным почитателем немецкого поэта Гете и потому назвал свою старшую дочь в честь возлюбленной Гете Лили Шенеман, а младшую – Эльзой, по имени одной из героинь поэта. Девочки получили подобающее образование. Помимо гимназического курса, отец занимался с ними французским и немецким языками, а мать – музыкой, в первую очередь – игрой на фортепьяно.

В гимназии тринадцатилетняя Лиля познакомилась с семнадцатилетним сыном ювелира Осипом Бриком и совершенно не по-детски влюбилась в него. Сам Осип в то время не ответил Лиле взаимностью.

Окончив в 1909 году гимназию, Лиля поступила на математический факультет Высших женских курсов, однако интерес к математике вскоре угас, и она подалась в архитектурный институт – учиться на отделение живописи и лепки. Весной 1911 – го Лиля уехала в Мюнхен и около года обучалась скульптуре в одной из тамошних студий.

В Москву она вернулась уже опытной, совершенно зрелой женщиной, за плечами у которой было множество побед над мужчинами. Когда очередное любовное приключение Лили обернулось беременностью, родители отправили ее в куда-то в провинцию – избавляться от «позора». В результате Лиля навсегда лишилась возможности иметь детей.

Былые увлечения были забыты после случайной встречи с Осипом Бриком в Каретном Ряду. Эта встреча оказалась судьбоносной. «Постояли, поговорили, – вспоминала Лиля, – я держалась холодно и независимо и вдруг сказала: «А я вас люблю, Ося». Если Лиля пускала в ход свои чары, то никто из мужчин не мог устоять перед ними. Осип ответил взаимностью и сумел получить у своих родителей, которых пугала не вполне «благопристойная» репутация Лили, разрешение на брак. Они поженились в марте 1912-го и уехали жить из Москвы в Петербург. В начале их супружеская жизнь была безоблачной и даже казалась счастливой. Лиля была неизменно весела, очень внимательна, отзывчива и приятна в общении. Их петербургская квартира, продолжая традиции, заведенные в доме Лилиных родителей, превратилась в место сбора художников, поэтов и музыкантов. Жили небогато – порой гостей совсем

нечем было угощать, и тогда Лиля подавала на стол чай с хлебом, компенсируя скудость ужина своим обаянием. Порой она вела себя слишком вольно, но умный и, надо отметить, весьма проницательный Осип старался в такие моменты притворяться слепым и глухим. Он прекрасно понимал, что ревность вкупе со скандалами, обвинениями и упреками, не поможет ему удержать жену возле себя. А жить без Лили он уже не мог – прикипел к ней.

*По мнению самой Лили, секрет ее притягательности был таков:
«Надо внушить мужчине, что он гениальный... И разрешить ему то,
что не разрешают дома. Остальное сделают хорошая обувь и шелковое
белье».*

В 1915 году Лиля увлеклась балетом. Устроила в одной из комнат станок и начала брать уроки у известной балерины Александры Доринской. «Среднего роста, тоненькая, хрупкая, она являлась олицетворением женственности, – писала о ней Доринская. – Причесанная гладко, на прямой пробор, с косой, закрученной низко на затылке, блестящей естественным золотом своих воспетых... "рыжих" волос. Ее глаза действительно "вырывались ямами двух могил" – большие, были карими и добрыми; довольно крупный рот, красиво очерченный и ярко накрашенный, открывал при улыбке ровные приятные зубы... Дефектом внешности Лили Юрьевны можно было бы почитать несколько крупную голову и тяжеловатую нижнюю часть лица, но, может быть, это имело свою особую прелесть в ее внешности, очень далекой от классической красоты».

В том же 1915 году сестра Лили Эльза привела в дом Бриков своего близкого друга, начинающего поэта Владимира Маяковского, в которого она была влюблена настолько, что намеревалась связать с ним свою будущую жизнь. «В гостиной, где стояли рояль и пальма, было много молодых людей, – вспоминала Эльза. – Все шумели, говорили. Кто-то необычайно большой в черной бархатной блузе размашисто ходил взад и вперед, смотрел мимо всех невидящими глазами и что-то бормотал про себя. Потом внезапно загредел громким голосом. И в этот первый раз на меня произвели впечатление не стихи, не человек, который их читал, а все это, вместе взятое, как явление природы, как гроза».

Маяковский действительно производил впечатление – мощная фигура атлета, бритая голова, крупные, грубоватые черты лица, раскатистый «громовой» голос, небрежность в одежде. Его стихи были самобытны и искренни:

*Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
"Приду в четыре", – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,*

*корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любеночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек...*

Поэма «Облако в штанах» была написана под впечатлением любви Маяковского к Марии Денисовой, юной красавице, встретившейся ему во время гастролей в Одессе и разбившей своей холодностью его сердце. Это ее спрашивал Маяковский:

*Хотите – буду от мяса бешеный?
И как небо, меняя тона,
Хотите – буду безукоризненно нежный:
Не мужчина, а облако в штанах!*

Интерес Эльзы постепенно переросл в восхищение, а восхищение сменилось любовью. Преисполненная самых радужных надежд, она привела Маяковского домой – знакомить с родителями. Родители отнеслись к новому кавалеру дочери весьма неблагоприятно, как писала Лиля, «папа боялся футуристов». Гениальность поэта, очевидная для Эльзы, ее родителям так и не открылась.

Вскоре Юрий Каган умер. После похорон Эльза с Маяковским отправились из Москвы в Петербург, где девушка очень опрометчиво познакомила Владимира с сестрой и ее мужем. Познакомила – и тут же навсегда потеряла.

Кавалер сестры очень понравился Лиле. То ли она сразу же разглядела в нем некий потенциал, узрев будущую знаменитость, то ли просто заинтересовалась столь представительным мужчиной... Лилия была настолько мила и любезна с Маяковским, что тот долго читал ей свои стихи и на коленях вымаливал разрешения посвятить их «Лилечке». Лилия упивалась своим торжеством, а Эльза умирала от ревности. «Маяковский безвозвратно полюбил Лилию», – писала впоследствии Эльза.

Лиля признавалась в своих воспоминаниях: «Я влюбилась в Володю, едва он начал читать "Облако в штанах". Полюбила его сразу и навсегда... Меня пугала его напористость, рост, неумная, необузданная страсть... Он обрушился на меня, как лавина... Он просто напал на меня».

Прошло всего-навсего несколько дней после знакомства, как пылкий поэт начал упрашивать Бриков принять его в свой дом насовсем, объясняя свое желание тем, что «влюбился безвозвратно в Лилю Юрьевну». Ситуация сложилась пикантная. Лилия без долгих раздумий согласилась, а Осипу не оставалось ничего, как смириться с очередной выходкой своей сумасбродной супруги. Не исключено, впрочем, что он находил своего рода удовольствие в потакании всем прихотям Лили.

Несмотря на столь легко и быстро полученное разрешение, Маяковский окончательно перебрался жить к Брикам лишь в 1918 году. Скандал был громкий, «брак втроем» порождал множество самых невероятных слухов как среди знакомых, так и в широких кругах общест-венности. Лилия то и дело объясняла во всеуслышание, что «с Осей интимные отношения у нее давно закончены». Ей и верили и не верили. Подробности взаимоотношений в «беспут-ной троице» волновали умы – ведь все это было так неожиданно, так ново, так оригинально. Примечательно, что почти никто не осуждал Лилю. Она была божеством, неким эфемерным созданием, вознесшимся над толпой, над условностями, над мещанским мировоззрением. Двое мужчин и одна женщина жили вместе, под одной крышей, в небольшой квартире, и кажется, все они были счастливы. Вспоминая Маяковского в те далекие петроградские годы, Л. Ю. писала: «Совсем он был тогда еще щенок, – писала о Маяковском Лилия, – да и внеш-ностью ужасно походил на щенка: огромные лапы и голова – и по улицам носился, задрав хвост, и лаял зря, на кого попало, и страшно вилял хвостом, когда провинится. Мы его так и прозвали – Щеном». Поэт и в письмах к любимой, и в телеграммах подписывался Щеном и даже подобранного им щеночка назвал Щеном в свою честь.

«Он (*Маяковский. – А. III.*) выбрал себе семью, в которую, как кукушка залетел сам, однако же не вытесняя и не обездоливая ее обитателей. Наоборот, это чужое, казалось бы, гнездо он охранял и устраивал, как свое собственное устраивал бы, будь он семейственни-ком. Гнездом этим была семья Бриков, с которыми он сдружился и прожил всю свою твор-ческую биографию», – вспоминал поэт Николай Асеев.

Спокойствие в «семье» во многом зависело от Осипа Брика, личности весьма незауряд-ной, своеобразной, совсем не так, как все, воспринимающим мораль в супружеских отно-шениях. Маяковский был далеко не единственным членом семейного треугольника Бриков. В повести «Не попутчица», написанной Осипом, главный герой заявляет жене: «Никакой супружеской верности я от тебя не требую... Мы – коммунисты, не мещане». Кстати говоря, среди людей, хорошо знавших Бриков, находились и такие, которые считали, что Лилия любит одного лишь Осипа, который к ней совершенно равнодушен и оттого спокойно позволяет ей искать утешения на стороне.

В 1919 году Брики с Маяковским переехали в Москву, где на двери своей квартиры сразу повесили табличку: «Брики. Маяковский». Вначале им пришлось жить в убогой ком-муналке в Полуэктовом переулке. Из-за холодов приходилось жить в одной из двух комнат, так как на то, чтобы натопить обе, было недостаточно дров. В поэме «Хорошо!» Маяковский написал об этом своем жилище:

*Двенадцать
квадратных аришин жилья.
Четверо
в помещении —
Лилия,*

Ося,
я
и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь? —
В уборную
иду.
На Ярославский.

Жилось трудно, денег из-за дороговизны не хватало. Осип служил в ЧК, Маяковский зарабатывал на жизнь революционной поэзией, а Лиля работала в «Окнах РОСТА», раскрашивая по трафарету агитационные плакаты, подписи к которым придумывал Маяковский. Вскоре у Лили развился авитаминоз, она начала буквально «пухнуть с голоду». Маяковский переживал ужасно, но Лиля быстро пошла на поправку.

В 1921 году Брикам удалось получить две комнаты в другой, гораздо лучшей коммуналке, в Водопьяновом переулке, возле Почтамта. В одной из комнат, отведенной под столовую, за ширмой стояла кровать Лили, над которой висела надпись: «На кровать никому садиться не разрешается». Вторая комната служила кабинетом Осипа. У Маяковского была неподалеку, на Лубянке, своя, отдельная комната в коммуналке, но он там только работал.

Однажды Маяковский и Лиля встретили в кафе журналистку-революционерку Ларису Рейснер. Покинув кафе, Лиля по рассеянности забыла на стуле свою сумочку, за которой вернулся Маяковский. Острая на язык Лариса не преминула поддеть его: «Теперь вы так и будете таскать эту сумочку всю жизнь». Маяковский совершенно серьезно ответил: «Я, Лариса, могу эту сумочку в зубах носить. В любви обиды нет». Он и впрямь не обиделся на Ларису за ее слова.

В этом странном «треугольном» браке Лиля всегда оставалась собой. Точно так же, как не хранила верность мужу, не была она верна и Маяковскому. Один роман сменялся другим, а на пороге уже маячил третий – и так без конца. Тем более что Маяковский, доказав свою преданность новому режиму (одна поэма «Хорошо!» чего стоит!), начал выезжать за границу – в Лондон, Берлин, Париж – и ездил туда все чаще и чаще, агитируя в пользу советской власти.

В Париже жила сестра Эльза, давно простившая Лиле Маяковского. В 1918 году Эльза познакомилась с Андре Триоле, офицером, служившим во французском посольстве в Москве, вышла за него замуж и навсегда уехала из России. В одном из первых писем она написала сестре: «Андрей, как полагается французскому мужу, меня шпыняет, что я ему носки не штопаю, бифштексы не жарю и что беспорядок. Пришлось превратиться в примерную хозяйку... во всех прочих делах, абсолютно во всех – у меня свобода полная». В браке Эльза прожила около двух лет, но фамилию мужа сохранила за собой на всю жизнь. Довольно быстро она нашла замену Маяковскому, очаровав поэта Луи Арагона. Арагон влюбился без памяти и посвящал Эльзе не менее трогательные стихи, чем те, которые Маяковский посвящал ее сестре. Например, «Глаза Эльзы»:

В глубинах глаз твоих, где я блаженство пью,

*Все миллиарды звезд купаются, как в море.
Там обретает смерть безвыходное горе,
Там память навсегда я затерял свою.
И если мир сметет кровавая гроза,
И люди вновь зажгут костры в потемках синих,
Мне будет маяком сиять в морских пустынях
Твой, Эльза, дивный взор, твои, мой друг, глаза.*

(Перевод М.И. Алигер)

Эльза внимательно следила за парижскими похождениями поэта и обстоятельно докладывала о них Лиле. Да, Маяковский, подобно Лиле, не был верным любовником. Однако он не позволял себе длительных романов, ограничиваясь легкими кратковременными интрижками. Каждое письмо, посвященное романам Маяковского, Эльза заканчивала словами: «Пустое, Лилечка, можно не волноваться». Лиля, собственно говоря, и не волновалась – она была уверена в собственных чарах.

За своими интрижками Маяковский никогда не забывал о Лиле и ее поручениях. «Первый же день по приезду посвятили твоим покупкам, – писал он из Парижа в Москву, – заказали тебе чемоданчик и купили шляпы. Осилив вышеизложенное, займись пижамками».

В ответном письме он читал: «Милый щененок, я не забыла тебя... ужасно люблю тебя. Кольца твоего не снимаю...» Кольца, подаренного Владимиром Маяковским, Лиля не снимала до конца дней своих. Это было тонкое, очень скромное колечко, с гравировкой «ЛЮБ» – Лиля Юрьевна Брик. При вращении буквы сливались в одно нескончаемое «ЛЮБЛЮ».

Жили нескучно – периоды относительного благополучия сменялись бурными скандалами. Временами Маяковский просто сходил с ума от ревности, кричал, бил посуду, мог переломать мебель, а в завершение сцены, громко хлопнув дверью, уходил от Бриков в свою комнату на Лубянской площади. Уходил, чтобы вернуться спустя несколько дней.

Маяковский каялся, просил у любимой прощения и говорил ей: «Делай как хочешь. Ничто никогда и никак моей любви к тебе не изменит...» Когда приятели поэта упрекали его в чрезмерной уступчивости по отношению к Лиле Брик, он сердился: «Запомните! Лиля Юрьевна – моя жена!» Его кредо было таково: «В любви обиды нет!»

*Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая?!
...Делай, что хочешь.
Хочешь – четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только – слышишь! – убери проклятую ту, которую
сделал моей любимой!*

Летом 1922 года Брики с Маяковским отдыхали на даче под Москвой. Рядом с ними жил довольно высокопоставленный большевик Александр Краснощеков, с которым у Лили завязался страстный роман. По возвращении в Москву Маяковский не выдержал и начал требовать у любимой женщины немедленно порвать с Краснощековым. Осип пытался успокоить Маяковского: «Лиля – стихия, с этим надо считаться. Нельзя остановить дождь или снег по своему желанию», но Маяковский не поддавался на уговоры, а напротив – устроил очередной громкий скандал в своем стиле. Оскорбленная Лиля разъярилась, заявила, что

не желает больше слышать никаких упреков, и наказала Маяковского трехмесячным изгнанием.

Маяковский выдержал – они, не считая нескольких случайных, мимолетных встреч, не виделись ровно три месяца. Было трудно. Маяковский подходил к дому Лили и Осипа, прятался на лестнице, подкрадывался к заветной двери, писал письма и записки («Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, люблю, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. Аминь»), которые передавал как через домработницу Бриков, так и через общих знакомых. Поэт посылал своей музе цветы, книги и другие подарки. Среди подарков попадались и такие откровенные намеки на положение несчастного изгнанника, как, например, птицы в клетке. Лили подарки принимала, благодарила краткими записочками – но срок не сокращала.

Эти три месяца могли бы стать для них обоих временем пересмотра, переосмысления своих взаимоотношений, могли бы дать возможность вырваться из инерции повседневной жизни, начать жить как-то по-новому. Увы, этого не произошло. Маяковского мало интересовал анализ отношений с Лилей. Для него было важно лишь одно – чтобы они были вместе и никогда не разлучались.

28 декабря 1922 года Маяковский писал Лиле:

«Лилек!

Я вижу – ты решила твердо. Я знаю, что мое приставание к тебе для тебя боль. Но Лилек, слишком страшно то, что случилось сегодня со мной, что б я не ухватился за последнюю соломинку, за письмо.

Так тяжело мне не было никогда – я, должно быть, действительно чересчур вырос. Раньше, прогоняемый тобою, я верил во встречу. Теперь я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил, всегда знал, теперь я это чувствую, чувствую всем своим существом, все, все, о чем я думал с удовольствием, сейчас не имеет никакой цены – отвратительно.

Я не грожу и не вымогаю прощения. Я ничего с собой не сделаю – мне чересчур страшно за маму и Люду {*Людмила Владимировна Маяковская – старшая сестра поэта. – А. Ш.*), с того дня мысль о Люде как-то не отходит от меня. Тоже сентиментальная зрелость. Я ничего тебе не могу обещать. Я знаю, нет такого обещания, в которое ты бы поверила. Я знаю – нет такого способа видеть тебя, мириться, который не заставил бы тебя мучиться.

И все-таки я не в состоянии не писать, не просить тебя простить меня за все. Если ты принимала решение с тяжестью, с борьбой, если ты хочешь попробовать последнее – ты простишь, ты ответишь.

Но если ты даже не ответишь ты, одна моя мысль как любил я тебя семь лет назад так люблю, и сию секунду что б ты не ни захотела, что б ты ни велела я сделаю сейчас же сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться, если знаешь что любишь и в расставании сам виноват.

Я сижу в кафэ и реву надо мной смеются продавщицы. Страшно думать что вся моя жизнь дальше будет такою.

Я пишу только о себе, а не о тебе. Мне страшно думать, что ты спокойна и что с каждой секундой ты дальше от меня и еще несколько их – и я забыт совсем.

Если ты почувствуешь от этого письма что-нибудь кроме боли и отвращения, ответь ради Христа, ответь сейчас же, я бегу домой, я буду ждать. Если нет страшное, страшное горе...»

Новый год безутешный поэт встречал в одиночестве, в своем лубянском «кабинете» – принадлежащей ему комнате в коммунальной квартире. В день окончания срока он словно одержимый помчался на вокзал, где его уже ждала Лилия, – они договорились отправиться на несколько дней в Петроград и устроить себе нечто вроде медового месяца, пусть и совсем

коротенького. В поезде донельзя взволнованный и безмерно счастливый Маяковский читал Лиле свою новую поэму «Про это», написанную «в изгнании».

*В этой теме,
и личной
и мелкой, перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды,
и у негра
вострит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нем хоть один сердцелюдый, то и он
сейчас
скрипит
про то ж. Эта тема придет,
калеку за локти подтолкнет к бумаге,
прикажет:
– Скреби!*

Закончив чтение, Маяковский разрыдался. Разумеется, новая поэма была посвящена Лиле. Точнее говоря, она вышла с многозначительным посвящением «Ей и мне» и Лилиным портретом. Это была очень странная поэма, чуть ли не мистическая. Вроде бы, и впрямь «про это», а стоит перечитать, как убеждаешься, что все же больше про другое. И тема впрямую не обозначена. «Про что, про это?» – вопрошает Маяковский и сразу же зачем-то заменяет многоточием слово «любовь», подсказанное читателю рифмой.

Стоит только убрать из текста все лишнее, как останется несколько ярких и убедительных отрывков, в которых выражены те же самые ключевые мотивы, которые были характерны для дореволюционного творчества Маяковского, – ревность, обида и ненависть.

Даже так – ревность и ненависть. К кому – автор утаивает. Его чувства извергаются в небытие, в подсознание.

Так до конца и не понятно – что именно отвергает и ненавидит Маяковский. «Обыденщина», «мелочинный рой», «сердце раздиравшие мелочи»... Уж не повседневный ли быт дома Бриков имел в виду Маяковский? У Бриков было нечто вроде творческого салона, о котором очень резко высказывалась Анна Ахматова: «Литература была отменена, оставлен был один салон Бриков, где писатели встречались с чекистами» (этот отзыв можно прочесть в книге Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой»).

Самая же суть трагедии крылась в том, что и любимая женщина поэта принадлежала к этому столь ненавистному его сердцу миру и была неотделима от него.

*И снова
хлопанье двери и карканье,
и снова танцы, полами исшарканные.
И снова
стен раскаленные степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе...*

*Пусть бредом жизнь смололась.
Но только б, только б не ея
невыносимый голос!
Я день,
я год обыденщине предал,
я сам задыхался от этого бреда.
Он
жизнь дымком квартирошным выел.
Звал:
решишь
с этажей
в мостовые!
Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал.
Пускай однобоко,
пусть лишь стихом,
лишь шагами ночными —
строчишь,
и становятся души строчными,
и любишь стихом,
а в прозе немею.
Ну вот, не могу сказать,
не умею.
Но где, любимая,
где, моя милая,
где
— в песне! —
любви моей изменил я?
Здесь
каждый звук,
чтоб признаться,
чтоб кликнуть.
А только из песни — ни слова не выкинуть...*

*— Смотри,
Даже здесь, дорогая,
стихами грома обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя
в проклятьях моих
обхожу.
Приди,
разотзовись на стих.
Я, всех оббегав, — тут.*

«Я, всех оббегав, — тут». Хорошо сказано. И правдиво.

***В 1926 году, вернувшись из Америки, Владимир Маяковский сообщил
Лиле, что в Нью-Йорке он влюбился в русскую эмигрантку Элли Джонс***

***(девичья фамилия ее была Алексеева), которая ждет от него ребенка.
Впоследствии Элли родила девочку.***

Лиля восприняла сообщение спокойно, скорее даже – равнодушно, не выразив ни негодования, ни огорчения, ни волнения. Подобное поведение задело Маяковского гораздо больше, чем скандал. Он мог ожидать многого, но не спокойного безразличия. Лиля была превосходным психологом, обладала недюжинной выдержкой и в любой ситуации поступала самым выгодным для себя образом.

Стоило только ценку попробовать сорваться с поводка и увлечься некоей Натальей Брюханенко, бывшей гораздо моложе него, как Лиля тут же сменила гнев на милость. В Ялту, где Маяковский пытался забыть Лилю в объятиях новой подруги, полетела длинная телеграмма, приглашающая поэта вернуться «в семью». «Володя, я слышала, что ты хочешь жениться, – писала Лиля. – Не делай этого. Мы все трое {Маяковский, Лиля и Осип. – А. Ш.) женаты друг на друге, и больше жениться нам грех. Ужасно крепко тебя люблю. Пожалуйста, не женись всерьез, а то меня все уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься!» Вот так-то!

Прошло несколько дней, и Маяковский приехал в Москву, отказавшись от мысли о женитьбе на Наталье. Былые отношения восстановились, но заделать до конца трещину Лиле и Маяковскому так и не удалось. А может быть, им это уже было и не надо?

Впрочем, когда осенью 1928 года Маяковский собрался во Францию якобы для того, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье, Лиля заволновалась. К ней поступили сведения о том, что ее любовник едет за границу главным образом для того, чтобы встретиться с Элли Джонс и увидеть свою малышку дочь. Элли с дочерью находилась в то время в Ницце.

Лиля написала сестре, по-прежнему жившей в Париже. Она просила «не упускать Володю из виду». Эльза то ли перестаралась, то ли решила отомстить сестре за все обиды разом и, вроде бы желая отвлечь, оторвать Маяковского от Элли, познакомила его с очаровательной и молодой моделью Дома «Шанель», Татьяной Яковлевой, русской эмигранткой.

Благими намерениями... Действительно, очень скоро Маяковский и впрямь забыл об Элли. Но он увлекся Татьяной настолько, что решил жениться на ней и увезти с собой в Советский Союз. Разумеется, он посвятил Яковлевой стихотворение. «Письмо Татьяне Яковлевой» было написано 25 октября 1928 года, вскоре после их знакомства.

*В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть...
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови...
Страсти корь
сойдет коростой,
но радость
неиссыхаемая,*

*буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я...
Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму —
одну
или вдвоем с Парижем.*

«Ты одна мне ростом вровень...» Татьяна Яковлева действительно была высокой, под стать Маяковскому, ее рост равнялся без малого ста восьмидесяти сантиметрам.

Вот что вспоминала Татьяна о том, как Маяковский провожал ее в день знакомства: «В такси он неожиданно сполз с сиденья, как бы опустился на колени, и стал с жаром объясняться в любви. Эта выходка меня страшно развеселила. Такой огромный, с пудовыми кулачищами и ползает на коленях, как обезумевший гимназист. Но смеяться я не могла, боясь раскашляться. Как только мы подъехали к дому врача, я ласково с ним попрощалась. Он взял с меня слово – обязательно увидеться завтра. Я согласилась. С тех пор мы не расставались вплоть до его отъезда».

Красивая и неглупая Татьяна пользовалась у мужчин большим вниманием, но столь знаменитого кавалера у нее раньше не было. Она закрыла глаза на сожительство Маяковского с Бриками, о котором ей рассказал сам поэт, и дала согласие на брак.

Маяковский был сам не свой от счастья. Интересная подробность – он потратил кучу денег, заказав в одном из цветочных магазинов еженедельную доставку на дом к Татьяне букетов с приколотым четверостишием его собственного сочинения. Всего таких букетов было пятьдесят четыре.

По возвращении в Россию, Маяковский опубликовал стихотворение «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви». Опубликовал с посвящением Татьяне Яковлевой. Впервые за все годы знакомства с Лилей Брик лирические стихи Маяковского оказались посвященными не ей («Письмо Татьяне Яковлевой» тогда еще не было опубликовано и Лиля о нем ничего не знала).

Лиля Брик пришла в ярость. Она почувствовала себя оскорбленной, ведь впервые с момента их знакомства Маяковский осмелился посвятить свою лирику другой женщине. На сей раз выдержка изменила Лиле. Она закатила неверному воздыхателю жуткий скандал, обвиняя его в неверности и предательстве.

Художница Елизавета Лавинская, достаточно близко знавшая «семейство» Маяковского и Бриков, вспоминала: «Еще в 1927 году поэт собрался жениться на одной девушке, что очень обеспокоило Лилю... Она ходила расстроенная, злая, говорила, что он (Маяковский), по существу, ей не нужен, он всегда скучен, исключая время, когда читает стихи, но я не могу допустить, чтобы Володя ушел в какой-то другой дом, да ему самому это и не нужно».

Маяковский неожиданно заупрямился. В следующий свой приезд в Париж он продолжал встречаться с Татьяной. Не помогло даже вмешательство Эльзы, пытавшейся разжечь в Маяковском ревность своими рассказами о многочисленных кавалерах Татьяны. Маяковский уехал в Москву, пообещав вскоре приехать для того, чтобы забрать Татьяну с собой в качестве жены.

Увы – влюбленные так больше никогда и не увиделись! Несмотря на то что Маяковский продолжал верно служить большевистскому режиму – закончил пьесу «Баня», участвовал в работе различных конференций, написал «верноподданные» «Стихи о советском паспорте», – отношение к нему со стороны властей вдруг резко изменилось. Из фаворитов поэт мгновенно угодил в парии со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до невозможности выезда за границу. Советская власть не прощала отступничества, в частности – несанкционированных связей с белой эмиграцией. А тут речь шла не просто о связях, а о женитьбе «певца революции» на «классово чуждом элементе». По неосмотрительности или же под влиянием чувства Маяковский допустил большую ошибку. Мало кто мог поверить в то, что, женившись на богатой парижанке, да еще белоэмигрантке, Маяковский с женой вернутся в Россию. Не исключено, что и сам Маяковский в глубине души лелеял мысль о жизни в Париже.

Есть версия, согласно которой Маяковский стал «невыездным» с подачи Лили Брик, старавшейся хотя бы таким образом разлучить его с Татьяной. Якобы Лилия и Осип задействовали свои весьма обширные связи в чекистских кругах и помешали Маяковскому поехать за Татьяной. Версия эта вызывает сомнения – навряд ли Лилия стала предпринимать какие-либо шаги в этом направлении. И без того всем, кроме, пожалуй, самого Маяковского, было ясно, что его довольно долгий «роман» с Советской властью закончился.

Маяковский ждал, надеялся, изнывал от тоски. Наконец в октябре 1929 года Лиле пришло письмо от Эльзы. «Володя ждал машину, он ехал в Ленинград на множество выступлений, – вспоминала Лилия Брик. – Я разорвала конверт и стала, как всегда, читать письмо вслух. Вслед за разными новостями Эльза писала, что Т. Яковлева, с которой Володя познакомился в Париже и в которую еще был по инерции влюблен, выходит замуж за какого-то, кажется, виконта, что венчается с ним в Париже, в белом платье, с флердоранжем, что она вне себя от беспокойства, как бы Володя не узнал об этом и не учинил бы скандала, который ей может навредить и даже расстроить брак. В конце письма Эльза просит по всему этому ничего не говорить Володе. Но письмо уже прочитано».

На самом деле Лилия прочла это письмо перед большой аудиторией, во время одной из домашних вечеринок. Маяковский, услышав столь тяжелую новость, побледнел и покинул общество, которое сразу же начало обсуждать услышанное.

Кстати говоря, ни о каком венчании Татьяны с неким виконтом тогда еще не было и речи. Да, Татьяна догадалась, что быть вместе с Маяковским не получится, и отправила ему письмо, в котором интересовалась – видит ли Владимир выход из создавшегося положения. Писала она по наивности на «официальный» домашний адрес Маяковского – к Брикам, в Тендерный переулок. Стоит ли удивляться тому, что Маяковский этого письма так и не получил.

Да и было ему совсем не до писем... В Советском Союзе началась травля поэта. Как и все коммунистические мероприятия, травля эта была масштабной, можно даже сказать –

всесторонней. Шла она под лозунгом «Довольно Маяковского», и во главе ее стоял сам Лев Троцкий, тогда еще находившийся у власти.

Маяковского почти перестали публиковать, а те немногие публикации, которые все же появлялись, подвергались резкой, злобной критике. Заговорили о мнимом «кризисе Маяковского». «Социализм Маяковского – не наш марксистский социализм, это скорее социализм литературной богемы», – писал один из так называемых «критиков».

Стихи Маяковского, которые еще вчера всем нравились, называли «рифмованной лапшой» и «кумачевой халтурой», а его перо сравнивали с... шваброй. Маяковский в то время готовил свою выставку «20 лет работы», своеобразный отчет о собственном творчестве. Ему никто не помогал, его никто не поддерживал. Выставку не посетило ни одно официальное лицо, несмотря на то, что были приглашены многие, включая и самого товарища Сталина.

Ради прекращения травли следовало немедленно засесть за поэму «Иосиф Виссарионович Сталин», но Владимиру Маяковскому подобный выход на ум не пришел. Или же он попросту устал прогибаться перед властью?

Словно в издевку над «невыездным» поэтом, Брики уехали за границу, в Берлин. Маяковский провожал их на вокзале. Лиля оставила его «на попечение» своей подруги актрисы МХАТа Норы (Вероники) Полонской, жены актера Михаила Яншина. С Норой Маяковского познакомила Лиля, надеявшаяся на то, что новая любовница сможет отвлечь Владимира от Татьяны Яковлевой.

Сразу же после отъезда Бриков Маяковский принялся в довольно грубой форме настаивать на том, чтобы Нора немедленно бросила мужа и стала жить с ним. Маяковский утверждал, что ему очень тяжело и даже страшно жить одному. Нора не соглашалась.

Депрессия усиливалась. 14 апреля 1930 года Владимир Маяковский застрелился после очередного объяснения с Норой... «12 апреля позвонил В. В. и сказал, что ему очень плохо и что только я могу ему помочь, – вспоминала Полонская. – Я успокоила его, сказала, что тоже не могу без него жить. В. В. сказал: "Нора, я упомянул вас в письме к правительству, так как считаю вас своей семьей. Вы не будете возражать против этого?" Я ответила: "Упомяните, где хотите". 14 апреля В. В. потребовал, чтобы я осталась на Лубянке, сказал, что запрет меня в этой комнате. Я ответила, что люблю его, буду с ним, но остаться здесь сейчас я не могу. Он настаивал, чтобы все было немедленно или ничего не надо. Он спросил: «Значит, пойдешь на репетицию?» – "Да, пойду". – "Тогда уходи, уходи немедленно". Я вышла, прошла несколько шагов, раздался выстрел. Я решила войти. В. В. лежал на ковре, раскинув руки...»

Ленинградская «Красная газета» писала: «Самоубийство Маяковского. Сегодня в 10 часов 17 минут в своей рабочей комнате выстрелом из нагана в область сердца покончил с собой Владимир Маяковский. Прибывшая "Скорая помощь" нашла его уже мертвым. В последние дни В.В. Маяковский ничем не обнаруживал душевного разлада, и ничто не предвещало катастрофы. В ночь на вчера, вопреки обыкновению, он не ночевал дома. Вернулся домой в 7 час. утра. В течение дня он не выходил из комнаты. Ночь он провел дома. Сегодня утром он куда-то вышел и спустя короткое время возвратился в такси в сопровождении артистки МХАТа Х. Скоро из комнаты Маяковского раздался выстрел, вслед за которым выбежала артистка Х. Немедленно была вызвана карета "Скорой помощи", но еще до ее прибытия Маяковский скончался. Вбежавшие в комнату нашли Маяковского лежащим на полу с простреленной грудью. Покойный оставил две записки: одну – сестре, в которой передает ей деньги, и другую – друзьям, где пишет, что «он весьма хорошо знает, что самоубийство не является выходом, но иного способа у него нет...»

Брикам в Берлин ушла телеграмма «Сегодня утром Володя покончил с собой».

По факту смерти В. Маяковского было заведено уголовное дело, которое подтвердило факт самоубийства. Газета «Правда» писала: «Как сообщил нашему сотруднику следователь тов. Сырцов, предварительные данные следствия указывают, что самоубийство вызвано причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта. Самоубийству предшествовала длительная болезнь, после которой поэт еще не совсем оправился».

Вот что написал поэт за два дня до самоубийства:

Всем

В том, что умираю, не вините никого, и пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.

Мама, сестры и товарищи, простите – это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.

Лиля – люби меня.

Товарищ правительство моя семья это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь – спасибо.

Начатые стихи отдайте Брикам – они разберутся.

Как говорят —

«инцидент исперчен»,

Любовная лодка

разбилась о быт.

Я с жизнью в расчете,

и ни к чему перечень

взаимных болей,

бед

и обид.

Счастливо оставаться.

Владимир

Маяковский.

12/IV-30

Товарищи Вапповцы,

не считайте меня малодушным.

Серьезно – ничего не подделаешь.

Привет.

Ермилову скажите, что жаль, снял лозунг, надо бы доругаться.

В столе у меня 2000 руб., внесите в налог. Остальное получите с Тиза.

«Володя был неврастеник, – говорила Лиля, – едва я его узнала, он уже думал о самоубийстве».

Маяковского уже не было на свете, а ее жизнь была в самом расцвете. Тридцать девять лет – это, в сущности, не возраст.

17 апреля 1930 года, в день похорон Маяковского, в выпусках «Литературной газеты» и «Московской правды» появилась статья поэта Михаила Кольцова, в которой было сказано: «Нельзя с настоящего, полноценного Маяковского спрашивать за самоубийство. Стрелял

кто-то другой, случайный, временно завладевший ослабленной психикой поэта-общественника и революционера. Мы, современники, друзья Маяковского, требуем зарегистрировать это показание».

23 июля 1930 года вышло правительственное постановление о наследниках Маяковского, которыми были признаны Лиля Брик, мать поэта и две его сестры. Каждой из них досталась солидная по тем временам пенсия в 300 рублей. Лиля получила еще и половину авторских прав на произведения Владимира Маяковского, а другую половину поделили мать с сестрами. Признав за Лилей Брик все эти права, государство, по сути, признало ее женой Маяковского.

Вскоре после самоубийства Маяковского Лиля развелась с Осипом Бриком и вышла замуж за красного военачальника Виталия Примакова, став его третьей женой. В 1936 году Примакова расстреляли. Лиля недолго проходила во вдовах, выйдя замуж за Василия Катаняна, литературоведа, изучавшего жизнь и творчество Владимира Маяковского. Катанян был женат, но устоять перед Лилиными чарами не смог. Они прожили вместе около сорока лет, до смерти Катаняна.

В 1945 году умер Осип Брик. «Я любила, люблю и буду любить Осю больше чем брата, больше чем мужа, больше чем сына. Он неотделим от меня», – утверждала впоследствии Лиля.

Актриса Фаина Раневская вспоминала: «Вчера была Лиля Брик, принесла "Избранное" Маяковского и его любительскую фотографию. Говорила о своей любви к покойному... Брику. И сказала, что отказалась бы от всего, что было в ее жизни, только бы не потерять Осю. Я спросила: "Отказались бы и от Маяковского?" Она не задумываясь ответила: "Да, отказалась бы и от Маяковского, мне надо было быть только с Осей". Бедный, она не очень-то любила его. Мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому, и даже физически заболело сердце».

Лиля Брик умерла в 1978 году. Она ушла из жизни добровольно, выпив большую дозу снотворного. Тяжело болела и не хотела жить прикованной к кровати.

Самоубийство Маяковского вызывает много споров. Многие считали и считают, что это было убийство, организованное сотрудниками ГПУ с санкции чуть ли не самого Сталина. Писатель Борис Пастернак однажды сказал: «На смерть Маяковского я смотрю как на крупную грозовую тучу, с которой мне не приходится мириться». Кинорежиссер Сергей Эйзенштейн высказался о самоубийстве поэта более прямолинейно: «Его надо было убрать. И его убрали». На тему обстоятельств гибели поэта написано несколько книг, но стоит ли ломать копья, если причина самоубийства Маяковского в любом случае кроется в его разногласиях с Советской властью? Невозможность выезда за границу, травля, трудности с публикацией новых произведений... Сам ли он нажал на курок или это сделал кто-то другой – с учетом обстоятельств дела не столь уж и важно.

Михаил Булгаков и Елена Нюренберг Мастер и Елена

Булгаков

- происходил из духовного сословия
- закончил медицинский факультет Киевского университета
- служил в газетах репортером, затем фельетонистом
- вступил во Всероссийский союз писателей
- считал, что для писательского успеха ему надо жениться 3 раза
- изучал историю театра, иногда выступал в качестве актера
- продолжая газетную работу, писал сатирические повести и роман «Белая гвардия»
- работал режиссером в Центральном театре рабочей молодежи (ТРАМ)
- работал ассистентом театрального режиссера во МХАТе
- писал «в стол», книги не издавались, пьесы не ставились

Елена Сергеевна

- родом из Риги
- обучалась в Рижской Ломоносовской женской гимназии
- практична
- красива и элегантна
- муза Булгакова
- отличалась безграничной преданностью, доходившей до самоотверженности
- писала под диктовку, перепечатывала рукописи на машинке, редактировала их
- составляла договоры с театрами
- вела переговоры с нужными людьми, занималась корреспонденцией
- помогала Булгакову печатать и разносить по адресам знаменитое письмо Правительству СССР

Михаил Булгаков происходил из духовного сословия. Отец его был профессором Киевской духовной академии в чине статского советника. Сам Михаил Афанасьевич семейные традиции продолжить не пожелал – закончил медицинский факультет Киевского университета, а потом и вовсе стал писателем.

Но вот кем ему стать не удалось, так это писателем советским. Советская власть была чужда ему, и он не особенно это скрывал. Как не скрывал и свою недолгую службу у белых, правда – в качестве врача.

Он не был героем, но был человеком смелым – говорил то, что думал, не очень-то задумываясь о том, соответствуют ли его мысли «духу времени». Так, например, выступая в августе 1926 года на литературном диспуте в Колонном зале Дома союзов, Булгаков сказал: «Пора перестать большевикам смотреть на литературу с узкоутилитарной точки зрения и

необходимо, наконец, дать место в своих журналах настоящему «живому слову» и «живому писателю». Надо дать возможность писателю писать просто о человеке, а не политике».

«Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу!» – сказал Михаил Афанасьевич на допросе в ОГПУ спустя месяц после литературного диспута.

С Еленой Шиловской, в девичестве – Нюренберг, Михаил Булгаков познакомился на пике своей писательской славы. Он тогда был женат на Любви Белозерской, которую сам характеризовал как «бабу бойкую и расторопную». Помимо расторопности, Белозерская была весьма привлекательной и очень страстной женщиной. «Подавляет меня чувственно моя жена, – писал Булгаков в дневнике. – Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и в то же время безнадежно сложно. Сегодня видел, как она переодевалась. Жадно смотрел».

Любовь Белозерская «увела» Булгакова от его первой жены, Татьяны Лаппы, самоотверженно любившей Михаила Афанасьевича. Именно Татьяна помогла Булгакову справиться с пагубным пристрастием к морфию. Она выдержала весь кошмар совместной жизни с наркоманом, сама делала ему уколы, а в какой-то момент начала потихоньку снижать дозу наркотика. Но Татьяна не могла тягаться с броской красавицей Белозерской, и на двенадцатом году совместной жизни супруги расстались.

Второй брак писателя был короче первого. Он дал трещину уже весной 1929 года, когда Булгаков познакомился с Еленой Шиловской, женой начальника штаба Московского военного округа. Елена была подругой Любви Белозерской.

Дело было на Масленицу. «Сидели мы рядом, – вспоминала позже Елена Сергеевна. – У меня развязались какие-то завязочки на рукаве: я сказала, чтобы он завязал их. И он потом уверял меня, что тут-то и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь».

Евгений Шиловский был вторым мужем Елены Нюренберг. Елена была родом из Риги, отец ее был выкрестом и служил податным инспектором. В 1915 году Елена вместе с родителями переехала в Москву. После октябрьских событий 1917 года ее родители вернулись в Ригу. Елена же осталась в Москве. В декабре 1918 года она обвенчалась с Юрием Нееловым, сыном знаменитого актера Мамонта Дальского. Неелов служил в центральном аппарате Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). В июне 1920 года он был откомандирован в Минск, в 16-ю армию Западного фронта, где стал адъютантом командующего. Начальником штаба 16-й армии был бывший кадровый офицер царской армии Евгений Шиловский, знакомый с Нееловым еще по Москве.

Между Шиловским и Еленой возникло чувство, в результате чего уже в сентябре 1920 года Неелов был переведен в штаб Западного фронта, а его жена осталась с Шиловским в Минске. Осенью 1921 года, уже в Москве (Шиловский был назначен преподавателем оперативного искусства в Военной академии РККА), они зарегистрировали свой брак, и Елена Неелова стала Шиловской. Она вспоминала: «Это было в 1921 году в июне (или июле). Мы с Евгением Александровичем пришли к патриарху, чтобы просить разрешения на брак. Дело в том, что я с Юрием Мамонтовичем Нееловым (сыном Мамонта Дальского), моим первым мужем, была повенчана, но не разведена. Мы только в загсе оформили развод. Ну, и надо было поэтому достать разрешение на второй церковный брак у патриарха.

Мы сидели в приемной патриаршего дома... Вдруг дверь на дальней стене открылась, и вышел патриарх в чем-то темном, черном или синем, с белым клобуком на голове, седой, красивый, большой. Правой рукой он обнимал Горького за талию, и они шли через комнату. На Горьком был серый летний, очень свободный костюм. Казалось, что Горький очень похудел, и потому костюм висит на нем. Голова была голая, как колено, и на голове тубетейка. Было слышно, как патриарх говорил что-то вроде: ну, счастливой дороги...

Потом он, проводив Горького до двери, подошел к нам и пригласил к себе. Сказал: "Вот, пришел проститься, уезжает".

Потом, когда Евгений Александрович высказал свою просьбу, – улыбнулся и рассказал какой-то остроумный анекдот не то о двоеженстве, не то о двоемужестве, – не помню, к сожалению. И дал, конечно, разрешение».

В 1921 году у Шиловских родился сын Евгений, а в 1926 – второй сын Сергей. Евгений Шиловский уверенно делал карьеру (в 1928 году он стал начальником штаба Московского военного округа), а Елена занималась домом и детьми. Мужа своего она любила. Вот что писала Елена Шиловская своей сестре Ольге Сергеевне Бокшанской в октябре 1923 года: «Ты знаешь, как я люблю Женей моих, что для меня значит мой малыш, но все-таки я чувствую, что такая тихая, семейная жизнь не совсем по мне. Или вернее так, иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни, я не знаю, куда мне бежать, но хочется очень. При этом ты не думай, что это является следствием каких-нибудь неладов дома. Нет, у нас их не было за все время нашей жизни. Просто, я думаю, во мне просыпается мое прежнее "я" с любовью к жизни, к шуму, к людям, к встречам и т. д. и т. д. Больше всего на свете я хотела бы, чтобы моя личная жизнь – малыш, Женя большой – все осталось так же при мне, а у меня кроме того было бы еще что-нибудь в жизни, вот так, как у тебя театр».

И месяцем позже, в ноябре того же года, снова делилась с сестрой:

«Ты знаешь, я страшно люблю Женю большого, он удивительный человек, таких нет, малыши самое дорогое существо на свете, – мне хорошо, спокойно, уютно. Но Женя занят почти целый день, малыши с няней все время на воздухе, и я остаюсь одна со своими мыслями, выдумками, фантазиями, неистраченными силами. И я или (в плохом настроении) сажусь на диван и думаю, думаю без конца, или – когда солнце светит на улице и в моей душе – брожу одна по улицам».

Банальная, в общем-то ситуация – скупающая жена сильно занятого и оттого хорошо обеспеченного человека.

Знакомство с Булгаковым наполнило жизнь Елены новым смыслом. Спустя почти сорок лет она вспоминала: «Я была просто женой генерал-лейтенанта Шиловского, прекрасного, благороднейшего человека. Это была, что называется, счастливая семья: муж, занимающий высокое положение, двое прекрасных сыновей. Вообще все было хорошо. Но когда я встретила Булгакова случайно в одном доме, я поняла, что это моя судьба, несмотря на все, несмотря на безумно трудную трагедию разрыва. Я пошла на все это, потому что без Булгакова для меня не было ни смысла жизни, ни оправдания ее... Это было в 29-м году в феврале, на Масляную. Какие-то знакомые устроили блины. Ни я не хотела идти туда, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать составом приглашенных и его, и меня. Ну, меня, конечно, его фамилия. В общем, мы встретились и были рядом. Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае с моей стороны, любовь на всю жизнь».

Потом наступили гораздо более трудные времена, когда мне было очень трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смалодушествовала и осталась, и я не видела Булгакова двадцать месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба. Потому что когда я первый раз вышла на улицу, то встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: "Я не могу без тебя жить". И я ответила: "И я тоже". И мы решили соединиться, несмотря ни на что. Но тогда же он мне сказал то, что я, не знаю почему, приняла со смехом. Он мне

сказал: "Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках..." И я, смеясь, сказала: "Конечно, конечно, ты будешь умирать у меня на..." Он сказал: "Я говорю очень серьезно, поклянись". И в результате я поклялась».

На пороге своего сорокалетия Булгаков ушел с вольных хлебов на службу, став ассистентом театрального режиссера. Он устал быть свободным художником, критикуемым за свои «художества». Должность в театре сулила твердый оклад, стабильность и избавление от нападок критиков. У критиков теперь попросту не оставалось поводов – книги Булгакова не издавались, пьесы не ставились.

Летом 1930 года Булгаков приехал вместе с артистами в Крым, откуда отправил Елене Шиловской телеграмму: «Убежден ваше ведомство может срочно приобрести Москве турбюро путевку южный берег Крыма <...> Как здоровье? Привет вашему семейству». В ответной телеграмме говорилось: «Здравствуйте, друг мой Мишенька. Очень вас вспоминаю, и очень вы милы моему сердцу. Поправляйтесь, отдыхайте. Хочется вас увидеть веселым, бодрым, жутким симпатягой. Ваша Мадлена Трусикова-Ненадежная».

25 февраля 1931 года командарм (так тогда звались генералы) Шиловский узнал об отношениях его жены с опальным драматургом Булгаковым. Елена Сергеевна подозревала, что сообщила ему об этом Любовь Белозерская. Шиловский разволновался, грозил пистолетом... Именно с этого дня пошел отсчет тех двадцати месяцев, о которых упоминала Елена Сергеевна.

Двадцать месяцев. Двадцать долгих месяцев. Нелады на работе, в театре, нелюбовь Кремля, ставшая совершенно чужой жена, которая любила повторять мужу: «Ты не Достоевский!»

Все верно – он не был Достоевским. Он был Булгаковым.

Одиночество располагало к творчеству. Летом 1931 года Ленинградский Красный театр заключил с Булгаковым договор на написание пьесы о будущей войне. Греза о Елене, Михаил Афанасьевич начал сочинять пьесу «Адам и Ева», в которой прослушивались отголоски любви самого автора. Идея пьесы крылась в конфликте нового, коммунистического, со старым, буржуазным. Ничего другого Ленинградский Красный театр заказать не мог. Два главных героя, молодых коммуниста, инженер и летчик, боролись с отсталым ученым. Ученый изобрел аппарат, способный уберечь людей от ядовитых газов, но, вместо того, чтобы передать его родному коммунистическому государству, хочет отдать свое изобретение всем странам сразу, чтобы избавить все человечество от угрозы «газовой» войны. Коммунисты уверены, что изобретение должно служить интересам родной страны и никому более.

В итоге пьесу не удалось пристроить ни в один театр, так как по ходу ее действия погибал город Ленинград, «колыбель революции». То ли Булгаков допустил оплошность, то ли намеренно уничтожил пусть даже и на бумаге город, названный именем Ленина. Надо отметить, что отказ в постановке «Адама и Евы» не сильно расстроил автора пьесы. Он продолжал работу в театре, писал «в стол» и надеялся. Надеялся на воссоединение с любимой женщиной, надеялся на то, что отношение власти к нему (в первую очередь – отношение самого Сталина) вскоре изменится. Булгаков хотел иметь возможность выезда за границу, но все никак не мог ее получить. Там, наверху, серьезно опасались того, что «ненадежный» писатель, стоит только его выпустить, больше никогда не вернется в Советский Союз. Не исключено, что эти опасения были обоснованными.

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!

Так поражает молния, так поражает финский нож!

Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим

человеком, и я там тогда... с этой, как ее...», – написано в «Мастере и Маргарите». Летом 1932 года влюбленные наконец-то встретились.

Встреча эта была не случайной – она состоялась в одном из московских ресторанов при посредстве третьих лиц. Оба поняли, что они продолжают любить друг друга. Елена Сергеевна уехала с сыновьями отдыхать в Лебедянь и, как было условлено у нее с Булгаковым, написала оттуда мужу письмо, в котором умоляла отпустить ее.

В ответном письме Шиловский согласился решить дело миром, но просил жену не покидать пока дом («и я, дура, согласилась сначала», – писала Елена Сергеевна).

Были еще встречи, были письма, и наконец Шиловский потребовал, чтобы Булгаков явился к нему в дом для последнего, окончательного разговора. Елена Сергеевна хотела присутствовать при разговоре, но Шиловский ей этого не позволил. Донельзя взволнованная, она сделал вид, что уходит по каким-то делам, а сама спряталась за воротами церкви на противоположной стороне переулка, откуда и наблюдала за домом. Шиловский, по старому обыкновению, снова принялся размахивать пистолетом. Булгаков удивился: «Не будете же вы стрелять в безоружного?» – и предложил: «Дуэль – пожалуйста!»

Обошлось без дуэли. Постепенно Шиловский успокоился и согласился отпустить неверную жену. В сентябре 1932 года Елена Сергеевна написала родителям в Ригу: «Полтора года разлуки мне доказали ясно, что только с ним жизнь моя получит смысл и окраску. Мих. Аф., который прочел это письмо, требует, чтобы я приписала непременно... тем более, что выяснилось, с совершенной непреложностью, что он меня совершенно безумно любит». Шиловский тоже известил тестя и тещу о разводе, причем сделал это очень деликатно и благородно, должно быть вспомнил, как сам когда-то, точно так же, как Булгаков, «увел» Елену Сергеевну от первого мужа: «Дорогие Александра Александровна и Сергей Маркович! Когда вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной уже не будем мужем и женой. Мне хочется, чтобы вы правильно поняли то, что произошло. Я ни в чем не обвиняю Елену Сергеевну и считаю, что она поступила правильно и честно. Наш брак, столь счастливый в прошлом, пришел к своему естественному концу. Мы исчерпали друг друга, каждый давая другому то, на что он был способен, и в дальнейшем (даже если бы не разыгралась вся эта история) была бы монотонная совместная жизнь больше по привычке, чем по действительному взаимному влечению к ее продолжению. Раз у Люси родилось серьезное и глубокое чувство к другому человеку, – она поступила правильно, что не пожертвовала им. Мы хорошо прожили целый ряд лет и были очень счастливы. Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которые она мне дала в свое время. Я сохраняю самые лучшие и светлые чувства к ней и к нашему общему прошлому. Мы расстаемся друзьями».

По взаимной договоренности старший сын, Евгений, остался жить с отцом, а младший, Сережа, с матерью.

Развод Шиловских состоялся 3 октября 1932 года, а на следующий день Елена Сергеевна вышла замуж за Михаила Афанасьевича. Для каждого из молодоженов этот брак стал третьим и последним.

А главное – счастливым. Вне всяких сомнений, и Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич были счастливы в браке.

«Против меня был целый мир – и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно», – сказал Булгаков Елене Сергеевне, когда они поженились. «Сообщаю тебе, что в моей личной жизни произошла громадная и важная перемена. Я развелся с Любой и женился на Елене Сергеевне Шиловской. Ее сын, шестилетний Сергей, живет с нами», – писал он брату Николаю в Париж.

Михаил Афанасьевич очень любил детей, но своих заводить не хотел. Причину подобного нежелания он не скрывал. Так, на слова пианистки Марии Пазухиной, отдыхавшей вместе с Булгаковыми в Крыму в 1925 году: «А я скажу Вам вот что, – у Вас большая потребность иметь собственного сына, и Вы будете очень хорошим отцом», – Михаил Афанасьевич ответил: «Хотел бы иметь, если бы знал, что он будет здоровый и умный, а не идиот, – тогда я хотел бы иметь, а так как я знаю, что он здоровым не может быть, то и не хочу». Дело в том, что Булгаков страдал тяжелым наследственным заболеванием почек – нефросклерозом.

С Сережей Шиловским у Михаила Афанасьевича контакт установился сразу, а вскоре Булгаков подружился и со старшим сыном Елены Сергеевны – Евгением. Об этом рассказывала сама Елена Сергеевна, которую не могла не радовать приязнь, объединявшая трех самых дорогих ей мужчин: «Миша иногда, глядя на Сергея малого, разводил руками, поднимал плечи и говорил: "Немезида!.. Понимаешь ли ты, Сергей, что ты – Немезида?" На что Сережка оскорбленно отвечал: "Мы еще посмотрим, кто здесь Мезида, а кто Немезида!" И приводил этим Мишу в восторг... Если Миша ехал кататься на лодке и Сергей приставал, как о том и мечтал Миша, к нему, чтобы его взяли с собой, Миша брал с него расписку, что он будет вести себя так-то и так-то (эти расписки у меня сохранились, конечно). По пунктам – договор и подпись Сергея... Или в шахматы. Миша выучил его играть, и когда выигрывал Сергей (...это надо было в педагогических целях), Миша писал мне записку: "Выдать Сергею полплитки шоколаду". Подпись. Хотя я сидела в соседней комнате... Женичка (*старший сын Елены Сергеевны. – А. Ш.*) сначала очень ревновал к Мише, но потом, благодаря Мишиному уму в этом отношении, так полюбил Мишу, больше отца!..»

Булгаков подкупал детей тем, что держался с ними как с равными, без сюсюканья, без снисходительности, без занудного морализаторства. Елена Сергеевна вспоминала об одном смешном инциденте: «Миша как-то очень легко, абсолютно без тени скучного нравоучения, говорил с мальчиком моим за утренним кофе в один из воскресных дней, когда Женичка пришел к нам и мы, счастливая четверка, сидели за столом: "Дети, в жизни надо уметь рисковать. Вот, смотрите на маму вашу, она жила очень хорошо с вашим папой, но рискнула, пошла ко мне, бедняку, и вот, поглядите, как сейчас нам хорошо". И вдруг Сергей малый, помешивая ложечкой кофе, задумчиво сказал: «Подожди, Потап (*домашнее прозвище Михаила Афанасьевича, которого сначала переименовали в Михайлу Потаповича, а затем «сократили» до Потапа. – А. Ш.*), мама ведь может "искнуть еще 'аз'". Потап выскочил из-за стола, красный, не зная, что ответить ему, мальчишке восьми лет».

«Тот, кто называл себя мастером, работал, а она, запустив в волосы тонкие, с остро отточенными ногтями пальцы, перечитывала написанное, а перечитав, шила вот эту самую шапочку. Иногда она сидела на корточках у нижних полок или стояла на стуле у верхних и тряпкой вытирала сотни пыльных корешков. Она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером». Эта цитата из «Мастера и Маргариты» как нельзя лучше подходит к Михаилу Афанасьевичу и Елене Сергеевне. В отличие от прежней жены, говорившей «Ты – не Достоевский», Елена Сергеевна видела в Булгакове Мастера и не упускала буквально ни единой возможности напомнить ему об этом. Оно и верно – умная женщина никогда не позволит себе унижать любимого мужчину, а напротив, будет всячески его хвалить, вдохновляя на новые свершения и подвиги. Елена Нюренберг была женщиной умной.

Существовала версия о тайной службе Елены Сергеевны в НКВД, согласно которой она вышла замуж за Булгакова, выполняя задание руководства. Версия эта была выдвинута женой старшего сына Елены

Сергеевны Евгения Шиловского, Дзидрой Тубельской, которая писала о своей свекрови: «Возникает ряд бытовых деталей. Откуда такая роскошь в ее жизни? Ведь временами М. А. почти ничего не зарабатывал. Откуда дорогие огромные флаконы Гэрлен и Шанель, когда их в Москве никто и не видывал? Откуда шубы и прекрасная одежда, обувь от Борковского? Откуда возможность прекрасно принимать многочисленных гостей? Откуда возможность посещать приемы в американском посольстве, принимать у себя дома американцев, да и тех же осведомителей? Откуда возможность подписывать какие-то договора на издания за границей? Почему так активно взяла она в руки все дела М. А. – переговоры с театрами, с издательствами и пр.? Почему, наконец, она так быстро покинула обеспеченный дом Шиловского, разделила сыновей и последовала за крайне сомнительным будущим с Булгаковым? Думаю, что у нее была уверенность в незыблемости ее собственных доходов. И необходимость следовать некоему приказу... И наконец, почему после смерти М. А. так резко впервые в ее жизни наступили финансовые трудности? Не потому ли, что "объект" наблюдений скончался и отпала необходимость в ее услугах?»

Тубельская познакомилась с Еленой Сергеевной и Михаилом Афанасьевичем в 1939 году, можно сказать – незадолго до смерти Булгакова, и оттого не могла считаться объективной свидетельницей их совместной жизни. Явно она повторяла очень многое с чужих слов. К тому же Булгаков имел постоянный заработок в театре и вдобавок время от времени получал гонорары. Он же сам и попросил жену заняться его издательскими делами. Скорее всего, версия Тубельской о причастности Елены Сергеевны к НКВД была порождена напряженными отношениями между невесткой и свекровью.

Елена Сергеевна объединила в себе лучшие черты обеих прежних жен Булгакова: безграничную преданность, доходившую до самоотверженности, которой отличалась Татьяна Лаппа, она сочетала с практицизмом, красотой и элегантностью, присущими Любови Белозерской. На сторонний взгляд хватало у Елены Сергеевны и недостатков, современники считали ее скандалисткой и интриганкой, смаковали рассказы о ее капризах, но разве существует человек, о котором бы не судачили окружающие? Булгакова Елена Сергеевна полностью устраивала такой, какой она была, а была она верной и сильной женщиной, подобно актрисе Мадлене Бежар из «Жизни господина де Мольера». И пусть исходил завистью заклятый друг, писатель Юрий Слезкин, написавший в своем дневнике о Булгакове: «К славе снова притекли деньги – чтобы стать совершенно своим в МХАТе, нужно было связать с ним не только свою творческую, но и личную судьбу – так назрел третий брак... Все закономерно и экономически и социально оправдано... Мало того – и в этом сказывается талант, чутье и чувство такта его стиля. Многие даровитые люди гибли, потому что у них не было этого "седьмого" чувства – их любовь не подчинялась требованиям закона "развития таланта и его утверждения в жизни"».

С октября 1932 года Михаил Афанасьевич, Елена Сергеевна и Сережа стали жить в съемной квартире Булгакова на Большой Пироговской улице. Они с нетерпением ждали постройки писательского кооперативного дома в Нащокинском переулке, в котором должны были получить свою квартиру. Строительство изрядно затянулось. «Задыхаюсь на Пироговской», – жаловался друзьям Булгаков. Свое жилье на Пироговской писатель называл не иначе, как «чертовой ямой». Он не очень-то и преувеличивал – первый, вровень с улицей, этаж, теснота, отсутствие солнца, вечная сырость. «Я и Люся сейчас с головой влезли в квартирный вопрос, черт его возьми. Наша еще не готова и раздражает меня во всех смыслах», – писал Булгаков сестре Надежде в октябре 1933 года. Спустя два месяца Надежда Афана-

сьевна посетила брата и осуждающе записала в дневнике: «Михаил Булгаков, который "все простил». Оставьте меня в покое. Жена и детишки. Ничего я не хочу, только дайте хорошую квартиру и пусть идут мои пьесы"».

Писатель более не намеревался конфликтовать с властью, он успокоился, найдя свое счастье. Дом, домашний очаг, семья – эти вечные ценности наконец-то стали и его ценностями. Булгакова можно понять – нельзя всю жизнь стремиться к недостижимому, совершенно не обращая внимания на то, что тебя окружает. Из адепта богемы он превратился в главу небольшого, но дружного семейства и был рад этому.

Переезд состоялся в феврале 1934-го. «Замечательный дом, клянусь! – не без доли сарказма писал Булгаков Викентию Вересаеву. – Писатели живут и сверху, и снизу, и спереди, и сбоку. Молю Бога о том, чтобы дом стоял нерушимо. Я счастлив, что убрался из сырой Пироговской ямы. А какое блаженство не ездить на трамвае! Викентий Викентьевич! Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, и наверное, будут еще какие-нибудь неполадки, но все же я счастлив. Лишь бы только стоял дом».

«Квартира помаленьку устраивается, – сообщал он одному из самых близких своих друзей, литературоведу Павлу Попову. – Но столяры осточертели не хуже зимы. Приходят, уходят, стучат. В спальне повис фонарь. Что касается кабинета, то ну его в болото! Ни к чему все эти кабинеты. Пироговскую я уже забыл. Верный знак, что жилось там неладно. Хотя было и много интересного».

Квартира и впрямь была хороша. Просторная светлая столовая, кабинет Михаила Афанасьевича, отделанный в синих тонах, спальня, комната Сережи... Красивая посуда, серебряные столовые приборы, тяжелые шторы, картины на стенах. Стараниями Елены Сергеевны (ну и, разумеется, домработницы) повсюду царила идеальная чистота. Короче говоря – типичное буржуазное жилище, ничего коммунистического, советского. Зайдешь – и словно оказываешься в благословенном 1913 году, последнем мирном году Российской империи.

Друзья и знакомые заметили перемены – исчезла вечная булгаковская нервная возбужденность, куда-то делся сарказм. «Славьте очаг!» – призывал Булгаков, и оттого кое-кто был склонен считать его «обуржуазившимся».

В течение долгого времени Булгаков добивался разрешения на выезд за границу. Ему очень хотелось повидать мир, хотелось побывать там, где нет Советской власти, окунуться с головой в ту, прежнюю жизнь. «Я должен и я имею право видеть хотя бы кратко – свет. Проверяю себя, спрашиваю жену, имею ли я это право. Отвечает – имеешь», – писал Михаил Афанасьевич Вересаеву.

Если раньше Булгаков просил об изгнании из страны, то в 1934 году добивался всего лишь временного выезда. Так, во всяком случае, утверждал он сам. Конечно же, он мыслил себе отъезд за границу только вместе с Еленой Сергеевной и никак иначе. По собственному признанию – не желал оставлять заложников, выезжая из страны в одиночку.

История с заграничными паспортами обернулась циничным фарсом. Булгакова с женой пригласил к себе служащий иностранного отдела Мосгубисполкома некто Борисполец.

Они явились окрыленными, полными надежд. «Борисполец встал навстречу из-за стола, – писала в дневнике Елена Сергеевна. – На столе лежали два красных паспорта. Я хотела уплатить за паспорта, но Борисполец сказал, что паспорта будут бесплатные. "Они выдаются по особому распоряжению, – сказал он с уважением. – Заполните анкеты внизу".

И мы понеслись вниз. Когда мы писали, М. А. (*Михаил Афанасьевич. – А. Ш.*) меня страшно смешил, выдумывая разные ответы и вопросы. Мы много хихикали, не обращая внимания на то, что из соседних дверей вышли сначала мужчина, а потом дама, которые сели за стол и что-то писали.

Когда мы поднялись наверх, Борисполец сказал, что уже поздно, паспортистка ушла и паспорта не будут нам выданы. "Приходите завтра".

"Но завтра 18-е (шестидневка)". – "Ну, значит, 19-го".

На обратном пути М. А. сказал:

– Слушай, а это не эти типы подвели?! Может быть, подслушивали? Решили, что мы радуемся, что уедем и не вернемся?.. Да нет, не может быть. Давай лучше станем мечтать, как мы поедем в Париж!

И все повторял ликующе:

– Значит, я не узник! Значит, увижу свет!

Шли пешком возбужденные. Жаркий день, яркое солнце. Трубный бульвар. М. А. прижимает к себе мою руку, смеется, выдумывает первую главу книги, которую привезет из путешествия.

– Неужели не арестант?»

«19 мая. Ответ переложили на завтра», – продолжала Елена Сергеевна.

Утром по телефону им сказали, что паспортов еще нет, и попросили перезвонить к концу дня. В конце дня выяснилось, что паспортов нет. Предложили позвонить 23 мая.

«23 мая. Ответ переложили на 25-е».

Отложили, но подтвердили, что в отношении Булгаковых «есть распоряжение», то есть вопрос решен положительно.

«19-го паспортов нет. 23-го – на 25-е, 25-го – на 27-е. Тревога. Переспросили: есть ли распоряжение. – Есть. Из Правительственной Комиссии, через Театр узнаем: "дело Булгаковых устроено".

Что еще нужно? Ничего.

Терпеливо ждать. Ждем терпеливо» [13; 346] (из письма М. А. Булгакова В. В. Вересаеву).

«25 мая. Опять нет паспортов. Решили больше не ходить. М. А. чувствует себя отвратительно» [21; 46] (из дневника Е. С. Булгаковой).

«1 июня. За эти дни выяснилось, что секретарша Енукидзе Минервина говорила Оле, что она точно знает, что мы получим паспорта. Мхатчикам тоже дают многим. Оле в том числе» [21; 46] (из дневника Е. С. Булгаковой).

«Вскоре последовало еще одно подтверждение о наличии разрешения для меня. Из Театра мне было сообщено, что в секретариате ЦИК было сказано:

– Дело Булгаковых устраивается.

В это время меня поздравляли с тем, что многолетнее писательское мечтание о путешествии, необходимом каждому писателю, исполнилось» [13; 329] (из письма М. А. Булгакова И. В. Сталину).

«Тут уж стали поступать и поздравления, легкая зависть: „Ах, счастливы!“

– Погодите, – говорю, – где ж паспорта-то?

– Будьте покойны! (Все в один голос.)

Мы покойны. Мечтания: Рим, балкон, как у Гоголя сказано – пинны, розы, рукопись... диктую Елене Сергеевне... вечером идем, тишина, благоухание... Словом, роман!» [13; 346–347] (из письма М. А. Булгакова В. В. Вересаеву).

«3 июня. Звонила к Минервиной, к Бориспольцу – никакого толка. На улице холодно, мокро, ветер. Мы валяемся» [21; 48] (из дневника Е. С. Булгаковой).

«Тем временем в ИНО Исполкома продолжались откладывания ответов по поводу паспортов со дня на день, к чему я уже относился с полным благодушием, считая, что сколько бы ни откладывали, а паспорта будут» [13; 329] (из письма М. А. Булгакова И. В. Сталину).

«5 июня. Яков Л. (*Яков Леонтьевич Леонтьев, директор Большого театра. – А. III.*) сообщил, что поместил нашу фамилию в список мхатовский на получение паспортов.

На обратном пути заказали М. А. новый костюм.

Солнечный день».

Все включенные в этот список получили заграничные паспорта, все, кроме Булгаковых. Узнав об отказе, Михаил Афанасьевич очень расстроился. «Мы вышли, на улице М. А. вскоре стало плохо, я с трудом его довела до аптеки. Ему дали капель, уложили на кушетку. Я вышла на улицу – нет ли такси? Не было, и только рядом с аптекой стояла машина и около нее Безыменский («комсомольский» поэт, с которым у Булгаковых были натянутые отношения. – А. III.). Ни за что! Пошла обратно и вызвала машину по телефону», – читаем в дневнике Елены Сергеевны.

Булгаков написал письмо товарищу Сталину. Сдержанное и в то же время требовательное. Сталин наложил на письме резолюцию: «Совещаться», – и на этом все закончилось. За границу Булгаковы так и не попали.

Весной 1935 года Михаил Афанасьевич сделал последнюю попытку получить заграничный паспорт. Как раз и повод подвернулся весомый – на сцене французского театра «*Vieux Colombier*», название которого переводится как «Старая голубятня», вот-вот должна была пойти пьеса «Зойкина квартира».

Актриса Мария Рейнгардт, переводя пьесу, щедро наполняла ее «новым смыслом», в частности, вставляла и там и сям «священные» имена Ленина и Сталина, нередко приправляя свои вставки иронией. Булгаков возмущался, писал Марии гневные письма, требуя вычеркнуть все «имена членов Правительства Союза ССР», вставленные в текст пьесы. Кроме того, Михаил Афанасьевич писал брату Николаю, который представлял во Франции его интересы: «Прошу тебя со всей внушительностью и категорически добиться исправления неприятнейших искажений моего текста, которые заключаются в том, что переводчик вставил в первом акте (а возможно, и еще где-нибудь) имена Ленина и Сталина. Прошу тебя добиться, чтобы они были немедленно вычеркнуты. Я надеюсь, что тут нечего долго объяснять, насколько неуместно введение фамилий членов правительства СССР в комедию. Так нельзя искажать текст!» Михаил Афанасьевич беспокоился не напрасно – в те времена можно было поплатиться свободой, а то и жизнью и не за такие, с позволения сказать, «провинности». «Абсолютно недопустимо, – писал он в другом письме, – чтобы имена членов Правительства Союза фигурировали в комедийном тексте и произносились со сцены. Прошу тебя незамедлительно исполнить это мое требование и дать мне, не задерживаясь, телеграмму – по-русски или по-французски – как тебе удобнее, такого содержания: «твое требование вычеркивания исполнено».

«Мне были даны формальные заверения в том, что все твои требования и указания строжайше исполнены, – докладывал брату Николай Афанасьевич. – Во всем тексте французской адаптации нет ничего, что могло бы носить антисоветский характер или затронуть тебя как гражданина СССР... Хочется верить, что годы работы... увенчаются успехом и этот успех будет успехом твоим авторским, успехом советского театрального искусства и успехом всех тех, кто над этим трудился и трудится искренне и честно».

«Я считаю, что мое присутствие в Париже, хотя бы на сравнительно короткий срок, в связи с постановкой "Зойкиной квартиры" было бы необходимо. Я подал заявление о разрешении мне совершить поездку во Францию в сопровождении моей жены. Ответ должен последовать примерно через неделю», – Булгаков писал эти слова не столько для Марии

Рейнгардт, которой было адресовано письмо, сколько для тех, кто по долгу службы был обязан его прочесть.

Из дневника Елены Сергеевны за 1935 год:

«4 июня. Ходили в Иностраннный отдел, подали анкеты. Анкеты приняли, но рассматривать не будут, пока не принесем всех документов».

«15 июня. Ездили в Иностраннный отдел, отвезли все документы. Приняли. Также и 440 руб. денег. Сказали, что ответ будет через месяц».

Разумеется – ответ был отрицательным. «В заграничной поездке мне отказали, – сообщал Михаил Афанасьевич Вересаеву, – (Вы, конечно, всплеснете руками от изумления!), и я очутился вместо Сены на Клязьме. Ну что же, это тоже река».

Больше Булгаков за разрешением на выезд из страны не обращался. Лишь иногда, в приступе депрессии, сетовал на свой «плен». Елена Сергеевна сочувствовала, утешала, но больше ничем помочь не могла.

Парижская премьера «Зойкиной квартиры» состоялась в феврале 1937 года. Подтвердились худшие опасения Булгакова, которые были высказаны в письме к Николаю Афанасьевичу еще в 1934 году: «Пьеса не дает никаких оснований для того, чтобы устроить на сцене свинство и хамство! И само собою разумеется, я надеюсь, что в Париже разберутся в том, что такое трагикомедия. Основное условие: она должна быть сделана тонко».

На деле вышло не тонко, а вульгарно. Трагикомедия обернулась грубым фарсом. Вульгарное выпячивалось, грязное подчеркивалось, порочное смаковалось. Критики почти единодушно охали пьесу, зритель на нее «не пошел», и очень скоро «Зойкина квартира» была снята с репертуара. Поговаривали, что не обошлось без советского полпреда (посла) во Франции, который, посмотрев «Зойкину квартиру», остался очень недоволен и потребовал закрытия спектакля.

Не только в Париже, но и в Москве театральные дела драматурга Булгакова складывались далеко не самым лучшим образом. Долгие мытарства с постановкой «Мольера» во МХАТе – репетиции продолжались четыре года, измотали не только автора, но и актеров, рассорили Булгакова со Станиславским, – закончились ничем. Да – премьера состоялась, да – зрители приняли «Мольера» хорошо, но вскоре спектакль был признан «чуждым» и запрещен. Этот запрет не преминул сказаться и на постановке булгаковской пьесы «Александр Пушкин» в театре Вахтангова. «Мир праху Пушкина и мир нам. Я не буду тревожить его, пусть и он меня не тревожит», – писал Михаил Афанасьевич Вересаеву, в соавторстве с которым писал эту пьесу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.